

# Злочин і кара (переказ скорочено)

Федір Достоєвський

Частина перша

Переказ:

Герой роману Родіон Раскольников — колишній студент, який не може закінчити курс через нестачу грошей. Мета його виходу зі своєї комірчини, схожої на труну, — візит до старої лихварки Альони Іванівни. Віддаючи в заставу батьківський годинник, Раскольников вивчає розташування предметів у кімнаті, морально і психологічно готуючись до злочину — вбивства лихварки. Щоб заспокоїтись, Родіон іде до пивниці, де зустрічається з п'яничкою Мармеладовим. З розмови із Семеном Захаровичем Раскольников дізнається, що родина Мармеладових живе у суцільних злиднях, а Соня, старша дочка, змушена для хворої мачухи та молодших дітей заробляти на хліб проституцією.

Цитата:

С замираніем сердца и нервною дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одною стеной на канаву, а другою в — ю улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками — портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, "черная", но он все уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте даже и любопытный взгляд был неопасен. "Если о сию пору я так боюсь, что же было бы, если б и действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти?.." — подумал он невольно, проходя в четвертый этаж. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносившие из одной квартиры мебель. Он уже прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник: "Стало быть, этот немец теперь выезжает, и, стало быть, в четвертом этаже, по этой лестнице и на этой площадке, остается, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая. Это хорошо... на всякой случай..." — подумал он опять и позвонил в старухину квартиру. Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку: жилища оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки. Но увидав на площадке много народу, она ободрилась и отворила совсем. Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которою была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с острыми, и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее,

похожей на куриную ногу, было наверхено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость.

— Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц, — поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее.

— Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были, — отчетливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица.

— Так вот-с... и опять, по такому же дельцу... — продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи.

"Может, впрочем, она и всегда такая, да я в тот раз не заметил", — подумал он с неприятным чувством.

Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперед: — Пройдите, батюшка.

Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. "И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..." — как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и быстрым взглядом окинул он все в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение.

— Что угодно? — строго произнесла старушонка, входя в комнату и по-прежнему, становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо.

— Заклад принес, вот-с! — И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Цепочка была стальная.

— Да ведь и прежнему закладу срок. Еще третьего дня месяц как минул.

— Я вам проценты еще за месяц внесу; потерпите.

— А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать.

— Много ль за часы-то, Алена Ивановна?

— А с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колечко вам прошлый раз два билетика внесла, а оно и купить-то его новое у ювелира за полтора рубля можно.

— Рубля-то четыре дайте, я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу.

— Полтора рубля-с и процент вперед, коли хотите-с.

— Полтора рубля! — вскрикнул молодой человек.

— Ваша воля. — И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти; но тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда и что он еще и за другим пришел.

— Давайте! — сказал он грубо.

Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату за занавески. Молодой человек, оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. "Должно быть, верхний ящик, —

соображал он. — Ключи она, стало быть, в правом кармане носит... Все на одной связке, в стальном кольце... И там один ключ есть всех больше, втрое, с зубчатой бородкой, конечно, не от комода... Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка, али укладка... Вот это любопытно. У укладок все такие ключи... А впрочем, как это подло все..."

Старуха воротилась.

— Вот-с, батюшка: коли по гривне в месяц с рубля, так за полтора рубля причтется с вас пятнадцать копеек, за месяц вперед-с. Да за два прежних рубля с вас еще причтается по сему же счету вперед двадцать копеек. А всего, стало быть тридцать пять. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль пятнадцать копеек. Вот получите-с.

— Как! Так уж теперь рубль пятнадцать копеек!

— Точно так-с.

Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить, точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно...

— Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях, еще одну вещь принесу... серебряную... хорошую... папиросочницу одну... вот как от приятеля ворочу... — Он смутился и замолчал.

— Ну тогда и будем говорить, батюшка.

— Прощайте-с... А вы все дома одни сидите, сестрицы-то нет? — спросил он как можно развязнее, выходя в переднюю.

— А вам какое до нее, батюшка, дело?

— Да ничего особенного. Я так спросил. Уж вы сейчас... Прощайте, Алена Ивановна!

Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это все более увеличивалось. Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем— то внезапно пораженный. И наконец, уже на улице, он воскликнул:

"О боже! как это все отвратительно! И неужели, неужели я... нет, это вздор, это нелепость! — прибавил он решительно. — И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц..."

Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шел по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз. Никогда до сих пор не входил он в распивочные, но теперь голова его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива, тем более

что внезапную слабость свою он относил и к тому, что был голоден. Он уселся в темном и грязном углу, за липким столиком, спросил пива и с жадностью выпил первый стакан. Тотчас же все отлегло, и мысли его прояснели. "Все это вздор, — сказал он с надеждой, — и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря, — и вот, в один миг, крепнет ум, яснее мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое все это ничтожество!.." Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих. Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная.

## II

### Цитата

Раскольников не привык к толпе и, как уже сказано, бежал всякого общества, особенно в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям. Что-то совершалось в нем как бы новое, и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей. Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения, что хотя одну минуту хотелось ему вздохнуть в другом мире, хоть бы в каком бы то ни было, и, несмотря на всю грязь обстановки, он с удовольствием оставался теперь в распивочной...

Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал потом это первое впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно взглядывал на чиновника, конечно, и потому еще, что и сам тот упорно смотрел на него, и видно было, что тому очень хотелось начать разговор. На остальных же, бывших в распивочной, не исключая и хозяина, чиновник смотрел как-то привычно и даже со скукой, а вместе с тем и с оттенком некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей низшего положения и развития, с которыми нечего ему говорить. Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с отеками от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, — пожалуй, был и смысл и ум, — но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак, с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще держалась кое-как, и на нее-то он и застегивался, видимо, желая не удаляться приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито, по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно-чиновничье. Но он был в беспокойстве, ерошил волосы и подпирал иногда, в

тоске, обеими руками голову, положив продранные локти на залитый и липкий стол. Наконец он прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твердо проговорил;

— А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя отличает в вас человека образованного и к напитку непривычного. Сам всегда уважал образованность, соединенную с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником. Мармеладов — такая фамилия; титулярный советник. Осмелюсь узнать, служите изволили?

— Нет, учусь... — отвечал молодой человек, отчасти удивленный и особенным витиеватым тоном речи, и тем, что так прямо, в упор, обратились к нему. Несмотря на недавнее мгновенное желание хотя какого бы ни было сообщества с людьми, он при первом, действительно обращенном к нему слове вдруг ощутил свое обычное неприятное и раздражительное чувство отвращения ко всякому чуждому лицу, касавшемуся или хотевшему только прикоснуться к его личности.

— Студент, стало быть, или бывший студент! — вскричал чиновник, — так я и думал! — Он был хмелен, но говорил речисто и бойко, изредка только местами сбиваясь немного и затягивая речь. С какою-то даже жадностью накинулся он на Раскольникова, точно целый месяц тоже ни с кем не говорил.

— Милостивый государь, — начал он почти с торжественностью, — бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное! Милостивый государь, месяц назад тому супругу мою избил господин Лебезятников, а супруга моя не то что я! Понимаете-с? Позвольте еще вас спросить, так, хотя бы в виде простого любопытства: изволили вы ночевать на Неве, на сенных барках?

— Нет, не случилось, — отвечал Раскольников. — Это что такое?

— Ну-с, а я оттуда, и уже пятую ночь-с...

Его разговор, казалось, возбудил общее, хотя и ленивое внимание. Мальчишки за стойкой стали хихикать. Хозяин, кажется, нарочно сошел из верхней комнаты, чтобы послушать "забавника", и сел поодаль, лениво, но важно позевывая. Очевидно, Мармеладов был здесь давно известен...

— Забавник! — громко проговорил хозяин. — А для чего не работаешь, для чего не служите, коли чиновник?

— Для чего я не служу, милостивый государь, — подхватил Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову, как будто это он ему задал вопрос, — для чего не служу? А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне? Когда господин Лебезятников, тому месяц назад, супругу мою собственноручно избил, а я лежал пьяненькой, разве я не страдал? Позвольте, молодой человек, случилось вам...

гм... ну хоть испрашивать денег займы безнадежно?

— Случалось... то есть как безнадежно? — То есть безнадежно вполне-с, заранее зная, что из сего ничего не выйдет. Вот вы знаете, например, заранее и досконально, что сей человек, сей благонамереннейший и наипольнейший гражданин, низа что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он знает же, что я не отдам. Из сострадания? Но господин Лебезятников, следящий за новыми мыслями, объяснял намерения, что сострадание в наше время даже наукой воспрещено и что так уже делается в Англии, где политическая экономия. Зачем же, спрошу я, он даст? И вот, зная вперед, что не даст, вы все-таки отправляетесь в путь и...

— Для чего же ходить? — прибавил Раскольников.

— А коли не к кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти! Когда единородна дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел... (ибо дочь моя по желтому билету живет-с...) — прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством смотря на молодого человека. — Ничего, милостивый государь, ничего! — поспешил он тотчас же, и по-видимому спокойно, заявить, когда фыркнули оба мальчишки за стойкой и улыбнулся сам хозяин. — Ничего-с! Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем все известно и все тайное становится явным; и не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! пусть! "Се человек!" Позвольте, молодой человек: можете ли вы... Но нет, изъяснить сильнее и изобразительнее: не можете ли вы, а осмелитесь ли вы, взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья?

Молодой человек не отвечал ни слова,

— Ну-с, — продолжал оратор, солидно и даже с усиленным на этот раз достоинством переждав опять следовавшее в комнате хихикание. — Ну-с, я пусть свинья, а она дама! Я звериный образ имею, а Катерина Ивановна, супруга моя, — особа образованная и урожденная штаб-офицерская дочь. Пусть, пусть я подлец, она же и сердца высокого, и чувств, облагороженных воспитанием, исполнена. А между тем... о, если б она пожалела меня! Милостивый государь, милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели! А Катерина Ивановна дама хотя и великодушная, но несправедливая... И хотя я и сам понимаю, что когда она и вихры мои дерет, то дерет их не иначе как от жалости сердца... но, боже, что если б она хотя один раз... Но нет! нет! все сие втуне, и нечего говорить! нечего говорить!.. ибо и не один раз уже бывало желаемое, и не один уже раз жалели меня, но... такова уже черта моя, а я прирожденный скот!

— Еще бы! — заметил, зевая, хозяин.

Мармеладов решительно стукнул кулаком по столу.

— Такова уж черта моя! Знаете ли, знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил? Не башмаки-с, ибо это хотя сколько-нибудь походило бы на порядок вещей, а чулки, чулки ее пропил-с! Косыночку ее из козьего пуха тоже пропил, дареную, прежнюю, ее собственную, не мою; а живем мы в холодном угле, и она в эту зиму

простудилась и кашлять пошла, уже кровью. Детей же маленьких у нас трое, и Катерина Ивановна в работе с утра до ночи скребет и моет и детей обмывает, ибо к чистоте с измалетства привыкла, а с грудью слабою и к чахотке наклонною, и я это чувствую. Разве я не чувствую? И чем более пью, тем более и чувствую. Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу. Не веселья, а единой скорби ищу... Пью, ибо сугубо страдать хочу! — И он, как бы в отчаянии, склонил на стол голову.

— Молодой человек, — продолжал он, восклоняясь опять, — в лице вашем я читаю как бы некую скорбь. Как вошли, и прочел ее, а потому тотчас же и обратился к вам. Ибо, сообщая вам историю жизни моей, не на позорище себя выставлять хочу перед сими празднлюбцами, которым и без того все известно, а чувствительного и образованного человека ищу. Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила. Медаль... ну медаль-то продали... уж давно... гм... похвальный лист до сих пор у них в сундуке лежит, и еще недавно его хозяйке показывала. И хотя с хозяйкой у ней наибеспрерывнейшие раздоры, но хоть перед кем-нибудь погордиться захотелось и сообщить о счастливых минувших днях. И я не осуждаю, не осуждаю, ибо сие последнее у ней и осталось в воспоминаниях ее, а прочее все пошло прахом! Да, да; дама горячая, гордая и непреклонная. Пол сама моет и на черном хлебе сидит, а неуважения к себе не допустит. Оттого и господину Лебезятникову грубость его не захотела спустить, и когда прибил ее за то господин Лебезятников, то не столько от побоев, сколько от чувства в постель слегла. Вдовой уже взял ее, с троими детьми, мал мала меньше. Вышла замуж за первого мужа, за офицера пехотного, по любви, и с ним бежала из дому родительского. Мужа любила чрезмерно, но в картишки пустился, под суд попал, с тем и помер. Бивал он ее под конец; а она хоть и не спускала ему, о чем мне доподлинно и по документам известно, но до сих пор вспоминает его со слезами и меня им корит, и я рад, я рад, ибо хотя в воображениях своих зрит себя когда-то счастливой. И осталась она после него с тремя малолетними детьми в уезде далеком и зверском, где и я тогда находился, и осталась в такой нищете безнадежной что я хотя и много видал приключений различных, но даже и описать не в состоянии. Родные же все отказались. Да и горда была, чересчур горда... И тогда-то милостивый государь, тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея, руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. Можете судить потому, до какой степени ее бедствия доходили, что она, образованная и воспитанная и фамилии известной, за меня согласилась пойти! Но пошла! Плача и рыдая и руки ломая — пошла! Ибо некуда было идти. Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Нет! Этого вы еще не понимаете... И целый год я обязанность свою исполнял благочестиво и свято и не касался сего (он ткнул пальцем на полуштоф), ибо чувство имею. Но и сим не мог угодить; а тут места лишился, и тоже не по вине, а по изменению в штатах, и тогда прикоснулся!.. Полтора года уже будет назад, как очутились мы наконец, после странствий и многочисленных

бедствий, в сей великолепной и украшенной многочисленными памятниками столице. И здесь я место достал... Достал и опять потерял, Понимаете-с? Тут уже по собственной вине потерял, ибо черта моя наступила... Проживаем же теперь в угле, у хозяйки Амалии Федоровны Липпевехзель, а чем живем и чем платим, не ведаю. Живут же там многие и кроме нас... Содом-с, безобразнейший... гм... да... А тем временем возросла и дочка моя, от первого брака, и что только вытерпела она, дочка моя, от мачехи своей, возрастая, о том я умалчиваю. Ибо хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, но дама горячая и раздраженная, и оборвет... Да-с! Ну да нечего вспоминать о том! Воспитания, как и представить можете, Соня не получила. Пробовал я с ней, года четыре тому, географию и всемирную историю проходить; но как я сам в познании сем был некрепок, да и приличных к тому руководств не имелось, ибо какие имевшиеся книжки... гм!.. ну, их уже теперь и нет, этих книжек, то тем и кончилось все обучение. На Кире Персидском остановились. Потом, уже достигнув зрелого возраста, прочла она несколько книг содержания романического, да недавно еще, через посредство господина Лебезятникова, одну книжку — "Физиологию" Льюиса, извольте знать-с? — с большим интересом прочла и даже нам отрывочно вслух сообщала: вот и все ее просвещение. Теперь же обращаюсь к вам, милостивый государь мой, сам от себя с вопросом приватным: много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?.. Пятнадцать копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши! Да и то статский советник Клопшток, Иван Иванович, — изволили слышать? — не только денег за шитье полдюжины голландских рубах до сих пор не отдал, но даже с обидой погнал ее, затопав ногами и обозвав неприлично, под видом будто бы рубашечный ворот сшит не по мерке и косяком. А тут ребятишки голодные... А тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают, — что в болезни этой и всегда бывает: "Живешь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьешь и теплом пользуешься", а что тут пьешь и ешь, когда и ребятишки-то по три дня корки не видят! Лежал я тогда... ну, да уж. что! лежал пьяненькой-с, и слышу, говорит моя Соня (безответная она, и голосок у ней такой кроткий... белокуренькая, личико всегда бледненькое, худенькое), говорит: "Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти?" А уж Дарья Францевна, женщина злонамеренная и полиции многократно известная, раза три через хозяйку навевалась. "А что ж, — отвечает Катерина Ивановна, в пересмешку, — чего беречь? Эко сокровище!" Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не в здравом рассудке сие сказано было, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей не евших, да и сказано более ради оскорбления, чем в точном смысле... Ибо Катерина Ивановна такого уж характера, и как расплачутся дети, хоть бы и с голоду, тотчас же их бить начинает. И вижу я, эдак часу в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а



взяла только наш большой драдедамовый зеленый платок (общий такой у нас платок есть, драдедамовый), накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать, лицом к стенке, только плечики да тело все вздрагивают... А я, как и давеча, в том же виде лежал-с... И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись... обе... обе... да-с... а я... лежал пьяненькой-с.

Мармеладов замолчал, как будто голос у него пресекся. Потом вдруг поспешно налил, выпил и крикнул.

— С тех пор, государь мой, — продолжал он после некоторого молчания, — с тех пор, по одному неблагоприятному случаю и по донесению неблагонамеренных лиц, — чему особенно способствовала Дарья Францевна, за то будто бы, что ей в надлежащем почтении манкировали, — с тех пор дочь моя, Софья Семеновна, желтый билет принуждена была получить, и уже вместе с нами по случаю сему не могла оставаться. Ибо и хозяйка, Амалия Федоровна, того допустить не хотела (а сама же прежде Дарье Францевне способствовала), да и господин Лебезятников... гм... Вот за Соню-то и вышла у него эта история с Катериною Ивановной. Сначала сам добивался от Сонечки, а тут и в амбицию вдруг вошли: "Как, дескать, я, такой просвещенный человек, в одной квартире с таковскою буду жить?" А Катерина Ивановна не спустила, вступилась... ну и произошло... И заходит к нам Сонечка теперь более в сумерки, и Катерину Ивановну облегчает, и средства посильные доставляет. Живет же на квартире у портного Капернаумова, квартиру у них снимает... Только встал я тогда поутру-с, одел лохмотья мои, воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьевичу. Его превосходительство Ивана Афанасьевича извольте знать?.. Нет? Ну так божия человека не знаете! Это — воск... воск перед лицом господним; яко тает воск!.. Даже прослезилась, изволив все выслушать. "Ну, говорит, Мармеладов, раз уже ты обманул мои ожидания... Беру тебя еще раз на личную свою ответственность, — так и сказали, — помни, дескать, ступай!" Облобызал я прах ног его, мысленно, ибо взаправду не позволили бы, бывши сановником и человеком новых государственных и образованных мыслей; воротился домой, и как объявил, что на службу опять зачислен и жалование получаю, что тогда было!..

— Было же это, государь мой, назад пять недель. Да... Только что узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка, господи, точно я в царствие божие переселился. Бывало, лежи, как скот, только брань! А ныне: на цыпочках ходят, детей унимают: "Семен Захарыч на службе устал, отдыхает, тш!" Кофею меня перед службой поят, сливки кипятят! Сливки настоящих доставать начали, слышите! И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную, одиннадцать рублей пятьдесят копеек, не понимаю? Сапоги, манишки коленкоровые — великолепнейшие, вицмундир, все за одиннадцать с полтиной состряпали в превосходнейшем виде-с. Пришел я в первый день поутру со службы, смотрю: Катерина Ивановна два блюда сготовила, суп и солонину под хреном, о чем и понятия до сих пор не имелось. Платьев-то нет у ней

никаких... то есть никаких-с, а тут точно в гости собралась, приоделась, и не то чтобы что-нибудь, а так, из ничего все сделать сумеют: причешутся, воротничок там какой-нибудь чистенький, нарукавнички, ан совсем другая особа выходит, и помолодела, и похорошела. Сонечка, голубка моя, только деньгами способствовала, а самой, говорит, мне теперь, до времени, у вас часто бывать неприлично, так разве, в сумерки чтобы никто не видал. Слышите, слышите? Пришел я после обеда заснуть, так что ж бы вы думали, ведь не вытерпела Катерина Ивановна: за неделю еще с хозяйкой, с Амалией Федоровной, последним образом перессорились, а тут на чашку кофею позвала. Два часа просидели и все шептались: "Дескать, как теперь Семен Захарыч на службе и жалование получает, и к его превосходительству сам являлся, и его превосходительство сам вышел, всем ждать велел, а Семена Захарыча мимо всех за руку в кабинет провел". Слышите, слышите? "Я, конечно, говорит, Семен Захарыч, помня ваши заслуги, и хотя вы и придерживались этой легкомысленной слабости, но как уж вы теперь обещаетесь, и что сверх того без вас у нас худо пошло (слышите, слышите!), то и надеюсь, говорит, теперь на ваше благородное слово", то есть все это, я вам скажу, взяла да и выдумала, и не то чтоб из легкомыслия, для одной похвальбы-с! Нет-с, сама всему верит, собственными воображениями сама себя тешит ей-богу-с! И я не осуждаю: нет, этого я не осуждаю!.. Когда же, шесть дней назад, я первое жалованье мое — двадцать три рубля сорок копеек — сполна принес, малявочкой меня назвала: "Малявочка, говорит, ты эдакая!" И наедине-с, понимаете ли? Ну уж что, кажется, во мне за краса, и какой я супруг? Нет, ущипнула за щеку: "Малявочка ты эдакая!" — говорит.

Мармеладов остановился, хотел было улыбнуться, но вдруг подбородок его запрыгал. Он, впрочем, удержался. Этот кабак, развращенный вид, пять ночей на сенных барках и штоф, а вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье сбивали его слушателя с толку. Раскольников слушал напряженно, но с ощущением болезненным. Он досадовал, что зашел сюда.

— Милостивый государь, милостивый государь! — воскликнул Мармеладов, оправившись, — о государь мой, вам, может быть, все это в смех, как и прочим, и только беспокою я вас глупостию всех этих мизерных подробностей домашней жизни моей, ну а мне не в смех! Ибо я все это могу чувствовать. И в продолжение всего того райского дня моей жизни и всего того вечера и сам в мечтаниях летучих препровождал: и то есть как я это все устрою и ребятишек одену, и ей покой дам, и дочь мою единокровную от бесчестья в лоно семьи возвращу... И многое, многое... Позволительно, сударь. Ну-с, государь ты мой (Мармеладов вдруг как будто вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя), ну-с, а на другой же день, после всех сих мечтаний (то есть это будет ровно пять суток назад тому), к вечеру, я хитрым обманом, как тать в нощи, похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ, вынул что оста лось из принесенного жалованья, сколько всего уж не помню, и вот-с, глядите на меня, все! Пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у Египетского моста лежит, взамен чего и получил сие

одеяние... и всему конец!

Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко оперся локтем на стол. Но через минуту лицо его вдруг изменилось, и с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством взглянул на Раскольникова, засмеялся и проговорил:

— А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить! Хе-хе-хе!

— Неужели дала? — крикнул кто-то со стороны из вошедших, крикнул и захохотал во всю глотку.

— Вот этот самый полуштоф-с на ее деньги и куплен, — произнес Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову. — Тридцать копеек вынесла, своими руками, последние, все что было, сам видел... Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела... Так не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют! А это больней-с, больней-с, когда не укоряют!..

И он опустился на лавку, истощенный и обессиленный, ни на кого не смотря, как бы забыв окружающее и глубоко задумавшись. Слова его произвели некоторое впечатление; на минуту воцарилось молчание, но вскоре раздались прежний смех и ругательства:

— Рассудил!

— Заврался!

— Чиновник!

И проч. и проч.

— Пойдемте, сударь, — сказал вдруг Мармеладов, поднимая голову и обращаясь к Раскольникову, — доведите меня... Дом Козеля, на дворе. Пора... к Катерине Ивановне...

Они вошли со двора и прошли в четвертый этаж. Лестница чем дальше, тем становилась темнее. Было уже почти одиннадцать часов, и хотя в эту пору в Петербурге нет настоящей ночи, но на верху лестницы было очень темно.

Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы, на самом верху, была отворена. Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной; всю ее было видно из сеней. Все было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье.

Через задний угол была протянута дырявая простыня. За нею, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате было всего только два стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашенный и ничем не покрытый. На краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном подсвечнике. Выходило, что Мармеладов помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная. Дверь в дальнейшие помещения или клетки, на которые разбивалась квартира Амалии Липпевехзель, была, приотворена. Там было шумно и крикливо. Хохотали. Кажется, играли в карты и пили чай. Вылетали иногда слова самые нецеремонные.

Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми

волосами и действительно с раскрасневшимися до пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей небольшой комнате, сжав руки на груди, с запекшимися губами и неровно, прерывисто дышала. Глаза ее блестели как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен, и болезненное впечатление производило это чахоточное и взволнованное лицо, при последнем освещении догоравшего огарка, трепетавшем на лице ее. Раскольникову она показалась лет тридцати, и действительно была не пара Мармеладову...

— А! — закричала она в исступлении, — воротился! Колодник! Изверг!.. А где деньги? Что у тебя в кармане, показывай! И платье не то! где твое платье? где деньги? говори!..

И она бросилась его обыскивать. Мармеладов тотчас же послушно и покорно развел руки в стороны, чтобы тем облегчить карманный обыск. Денег не было ни копейки.

— Где же деньги? — кричала она. — О господи, неужели же он все пропил! Ведь двенадцать целковых в сундуке оставалось!.. — и вдруг, в бешенстве, она схватила его за волосы и потащила в комнату. Мармеладов сам облегчал ее усилия, смиренно ползя за нею на коленках.

— И это мне в наслаждение! И это мне не в боль, а в на-слаж-дение, ми-ло-сти—вый го-су-дарь, — выкрикивал он, потрясаемый за волосы и даже раз стукнувшись лбом об пол. Спавший на полу ребенок проснулся и заплакал. Мальчик в углу не выдержал, задрожал, закричал и бросился к сестре в страшном испуге, почти в припадке. Старшая девочка дрожала со сна как лист.

— Пропил! все, все пропил! — кричала в отчаянии бедная женщина, — и платье не то! Голодные, голодные! (и, ломая руки, она указывала на детей). О, треклятая жизнь! А вам, вам не стыдно, — вдруг набросилась она на Раскольникова, — из кабака! Ты с ним пил? Ты тоже с ним пил! Вон!

Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с разменянного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко. Потом уже на лестнице он одумался и хотел было воротиться.

"Ну что это за вздор такой я сделал, — подумал он, — тут у них Соня есть, а мне самому надо". Но рассудив, что взять назад уже невозможно и что все-таки он и без того бы не взял, он махнул рукой и пошел на свою квартиру. "Соне помадки ведь тоже нужно, — продолжал он, шагая по улице, и язвительно усмехнулся, — денег стоит сия чистота... Гм! А ведь Сонечка-то, пожалуй, сегодня и сама обанкрутится, потому тот же риск, охота по красному зверю... золотопромышленность... вот они все, стало быть, и на бобах завтра без моих-то денег... Ай да Соня! Какой колодезь,, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!"

Он задумался.

— Ну а коли я соврал, — воскликнул он вдруг невольно, — коли действительно не подлец человек, весь вообще, весь род то есть человеческий, то значит, что остальное

все — предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!..

#### IV

##### Переказ:

Справи Раскольникова кепські: він отримав листа від матері, що його сестра Дуня має намір вийти заміж за нищого заможного самозакоханого і обмеженого Лужина, щоб у такий спосіб покращити матеріальне становище родини і, в першу чергу, допомогти братові закінчити курс в університеті. Як розуміє Раскольников, ця жертва ще жахливіша за жертву Соні, тому депресія все більше поглинає його душу.

Напередодні злочину Раскольникову сниться сон про. дитинство — у ньому вся сутність, все єство героя постає проти вбивства, проти насилля. Він не той "надгерой", "надлюдина", що може спокійно вбивати, вершити долі людей.

##### Цитата:

Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство, еще в их городке. Он лет семи и гуляет в праздничный день, под вечер, с своим отцом за городом. Время серенькое, день удушливый, местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти: даже в памяти его она гораздо более изгладилась, чем представлялась теперь во сне. Городок стоит открыто, как на ладони, кругом ни ветлы; где-то очень далеко, на самом краю неба, чернеется лесок. В нескольких шагах от последнего городского огорода стоит кабак, большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшее впечатление и даже страх, когда он проходил мимо его, гуляя с отцом. Там всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели и так часто дрались; кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожи... Встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу и весь дрожал. Возле кабака дорога, проселок, всегда пыльная, и пыль на ней всегда такая черная. Идет она, извиваясь, далее и шагах в трехстах огибает вправо городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь с зеленым куполом, в которую он раза два в год ходил с отцом и с матерью к обедне, когда служились панихиды по его бабушке, умершей уже давно, и которую он никогда не видал. И вот снится ему: они идут с отцом по дороге к кладбищу и проходят мимо кабака; он держит отца за руку и со страхом оглядывается на кабак. Особенное обстоятельство привлекает его внимание: на это раз тут как будто гулянье, толпа разодетых мещанок, баб, их мужей и всякого сброду. Все пьяны, все поют песни, а подле кабачного крыльца стоит телега, но странная телега. Это одна из тех больших телег, в которые впрягают больших ломовых лошадей и перевозят в них товары и винные бочки. Он всегда любил смотреть на этих огромных ломовых коней, долгогривых, с толстыми ногами, идущих спокойно, мерным шагом и везущих за собою какую-нибудь целую гору, нисколько не надсаждаясь, как будто им с возами даже легче, чем без возов. Но теперь, странное дело, в большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая, саврасая крестьянская клячонка, одна из тех, которые — он часто это видел — надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их

так больно, так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам, а ему так жалко, так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет, а мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка. Но вот вдруг становится очень шумно: из кабака выходят с криками, с песнями, с балалайками пьяные-препьяные большие такие мужики в красных и синих рубашках, с армяками внакидку. "Садись, все садись! — кричит один, еще молодой, с толстою такою шеей и с мясистым, красным, как морковь, лицом, — всех довезу, садись!" Но тотчас же раздается смех и восклицанья:

— Этака кляча да повезет!

— Да ты, Миколка, в уме, что ли: этаку кобыленку в таку телегу запрет!

— А ведь савраске-то беспрерменно лет двадцать уж будет, братцы!

— Садись, всех довезу! — опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу, берет вожжи и становится на передке во весь рост. — Гнедой даве с Матвеем ушел, — кричит он с телеги, — а кобыленка эта, братцы, только сердце мое надрывает: так бы, кажись, ее и убил, даром хлеб ест. Говорю садись! Вскачь пуцу! Вскачь пойдет! — И он берет в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь савраску.

— Да садись, чего! — хохочут в толпе. — Слышь, вскачь пойдет!

— Она вскачь-то уж десять лет, поди, не прыгала.

— Запрыгает!

— Не жалей, братцы, бери всяк кнуты, зготовляй!

— И то! Секи ее!

Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек шесть, и еще можно посадить. Берут с собою одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах, в кичке с бисером, на ногах коты, щелкает орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь, как не смеяться: этака лядащая кобыленка да таку тягость вскачь везти будет! Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке. Раздается: "ну!", клячонка дергает изо всей силы, но не только вскачь, а даже и шагом-то чуть-чуть может справиться, только семенит ногами, кряхтит и приседает от ударов трех кнутов, сыплющихся на нее, как горох. Смех в телеге и в толпе удваивается, но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами кобыленку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет.

— Пусти и меня, братцы! — кричит один разлакомившийся парень из толпы.

— Садись! Все садись! — кричит Миколка, — всех повезет. Засеку! — И хлещет, хлещет, и уже не знает, чем и бить от остервенения.

— Папочка, папочка, — кричит он отцу, — папочка, что они делают? Папочка, бедную лошадку бьют!

— Пойдем, пойдем! — говорит отец, — пьяные, шалят, дураки: пойдем, не смотри! — и хочет увести его, но он вырывается из его рук и, не помня себя, бежит к лошадке. Но уж бедной лошадке плохо. Она задыхается, останавливается, опять дергает, чуть не падает.

— Секи до смерти! — кричит Миколка, — на то пошло. Засеку!

— Да что на тебе креста, что ли, нет, леший! — кричит один старик из толпы.

— Не трожь! Мое добро! Что хочу, то и делаю. Садись еще! Все садись! Хочу, чтобы непременно вскачь пошла!..

Вдруг хохот раздается залпом и покрывает все: кобыленка не вынесла учащенных ударов и в бессилии начала лягаться. Даже старик не выдержал и усмехнулся. И впрямь: этакая лядащая кобыленка, а еще лягается!

Два парня из толпы достают еще по кнуту и бегут к лошаденке сечь ее с боков. Каждый бежит с своей стороны.

— По морде ее, по глазам хлещи, по глазам! — кричит Миколка:

— Песню, братцы! — кричит кто-то с телеги, и все в телеге подхватывают. Раздается разгульная песня, брякает бубен, в припевах свист. Бабенка щелкает орешки и посмеивается.

...Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам! Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут. Один из секущих задевает его по лицу; он не чувствует, он ломает свои руки, кричит, бросается к седому старику с седой бородой, который качает головой и осуждает все это. Одна баба берет его за руку и хочет увести; но он вырывается и опять бежит к лошадке. Та уже при последних усилиях, но еще раз начинает лягаться.

— А чтобы те леший! — вскрикивает в ярости Миколка. Он бросает кнут, нагибается и вытаскивает со дна телеги длинную и толстую оглоблю, берет ее за конец в обе руки и с усилием размахивается над савраской.

— Разразит! — кричат кругом.

— Убьет!

— Мое добро! — кричит Миколка и со всего размаху опускает оглоблю. Раздается тяжелый удар.

— Секи ее, секи! Что стали! — кричат голоса из толпы.

А Миколка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаху ложится на спину несчастной клячи. Она вся оседает всем задом, но вспрыгивает и дергает, дергает из всех последних сил в разные стороны, чтобы вывезти; но со всех сторон принимают ее в шесть кнутов, а оглобля снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвертый, мерно, с размаха. Миколка в бешенстве, что не может с одного удара убить.

— Живуча! — кричат кругом.

— Сейчас непременно падет, братцы, тут ей и конец! — кричит из толпы один любитель.

— Топором ее, чего! Покончить с ней разом, — кричит третий.

— Эх, ешь те комары! Расступись! — неистово вскрикивает Миколка, бросает оглоблю, снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. — Берегись! — кричит он и что есть силы огорошивает с размаху свою бедную лошаденку. Удар рухнул; кобыленка зашаталась, осела, хотела было дернуть, но лом снова со всего размаху ложится ей на спину, и она падает на землю, точно ей подсекли все четыре ноги разом.

— Добивай! — кричит Миколка и вскакивает, словно себя не помня, с телеги. Несколько парней, тоже красных и. пьяных, схватывают что попало — кнуты, палки, оглоблю, и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает.

— Доконал! — кричат в толпе.

— А зачем вскачь не шла!

— Мое добро! — кричит Миколка, с ломом в руках и с налитыми кровью глазами. Он стоит будто жалея, что уж некого больше бить.

— Ну и впрямь, знать, креста на тебе нет! — кричат из толпы уже многие голоса.

Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы... Потом вдруг вскакивает и в исступлении бросается с своими кулачками на Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшийся за ним, схватывает его наконец и выносит из толпы.

— Пойдем! пойдем! — говорит он ему, — домой пойдем!

— Папочка! За что они... бедную лошадку... убили! — всхлипывает он, но дыхание ему захватывает, и слова криками вырываются из его стесненной груди.

— Пьяные, шалят, не наше дело, пойдем! — говорит отец. Он обхватывает отца руками, но грудь ему теснит, теснит. Он хочет перевести дыхание, вскрикнуть, и просыпается.

Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь, и приподнялся в ужасе.

"Слава богу, это только сон! — сказал он, садясь под деревом и глубоко переводя дыхание. — Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается: такой безобразный сон!"

Все тело его было как бы разбито; смутно и темно на душе. Он положил локти на колена и подпер обеими руками голову.

— Боже! — воскликнул он, — да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?

Он дрожал как лист, говоря это.

— Да что же это я! — продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении, — ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту... пробу, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю... Чего ж я теперь-то? Чего ж я еще до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, низко... ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило...

— Господи! Ведь я все же равно не решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю!.. Чего же, чего же и до сих пор.

Переказ:

Але Раскольников все ж таки продовжує готуватися до жахливого вчинку, хоче



довести собі, що йому вистачить сил стати "надлюдиною".

## VII

Цитата:

Дверь, как и тогда, отворилась на крошечную щелочку, и опять два острые и недоверчивые взгляда уставились на него из темноты. Тут Раскольников потерялся и сделал было важную ошибку.

Опасаясь, что старуха испугается того, что они одни, и не надеясь, что вид его ее разуверит, он взялся за дверь и потянул ее к себе, чтобы старуха как-нибудь не вздумала опять запереться. Увидя это, она не рванула дверь к себе обратно, но не выпустила и ручку замка, так что он чуть не вытащил ее, вместе с дверью, на лестницу. Видя же, что она стоит в дверях поперек и не дает ему пройти, он пошел прямо на нее. Та отскочила в испуге, хотела было что-то сказать, но как будто не смогла и смотрела на него во все глаза.

— Здравствуйте, Алена Ивановна, — начал он как можно развязнее, но голос не послушался его, прервался и задрожал, — я вам... вещь принес... да вот лучше пойдемте сюда... к свету... — И, бросив ее, он прямо, без приглашения, прошел в комнату. Старуха побежала за ним; язык ее развязался.

— Господи! Да чего вам?.. Кто такой? Что вам угодно?

— Помилуйте, Алена Ивановна... знакомый ваш... Раскольников... вот, заклад принес, что обещался наемни... — И он протягивал ей заклад.

Старуха взглянула было на заклад, но тотчас же уставилась глазами прямо в глаза незваному гостю. Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво. Прошло с минуту; ему показалось даже в ее глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась. Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно, до того страшно, что кажется, смотри она так, не говоря ни слова еще с полминуты, то он бы убежал от нее.

— Да что вы так смотрите, точно не узнали? — проговорил он вдруг тоже со злобой. — Хотите берите, а нет — я к другим пойду, мне некогда.

Он и не думал это сказать, а так, само вдруг выговорилось.

Старуха опомнилась, и решительный тон гостя ее, видимо, ободрил.

— Да чего же ты, батюшка, так вдруг... что такое? — спросила она, смотря на заклад.

— Серебряная папиросочница: ведь я говорил прошлый раз.

Она протянула руку.

— Да чтой-то вы какой бледный? Вот и руки дрожат! Искупался, что ль, батюшка?

— Лихорадка, — отвечал он отрывисто. — Поневоле станешь бледный... коли есть нечего, — прибавил он, едва выговаривая слова. Силы опять покидали его. Но ответ показался правдоподобным; старуха взяла заклад.

— Что такое? — спросила она, еще раз пристально оглядев Раскольникова и взвешивая заклад на руке.

— Вещь... папиросочница... серебряная... посмотрите.

— Да чтой-то, как будто и не серебряная... Ишь навертел.

Стараясь развязать снурок и оборотясь к окну, к свету (все окна у ней были заперты, несмотря на духоту), она на несколько секунд совсем его оставила и стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем, а только придерживал правой рукой под одеждой. Руки его были ужасно слабы; самому ему слышалось, как они, с каждым мгновением, все более немели и деревенели. Он боялся, что выпустит и уронит топор... вдруг голова его как бы закружилась.

— Да что он тут навертел! — с досадой вскричала старуха и пошевелилась в его сторону.

Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила.

Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, ко очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать "заклад". Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу; она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой.

Он положил топор на пол, подле мертвой, и тотчас же полез ей в карман, стараясь не замараться текущею кровью, — в тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме, затмений и головокружений уже не было, но руки все еще дрожали. Он вспомнил потом, что был даже очень внимателен, осторожен, старался все не запачкаться... Ключи он тотчас же вынул; все, как и тогда, были в одной связке, на одном стальном обручке. Тотчас же он побежал с ними в спальню. Это была очень небольшая комната, с огромным киотом образов. У другой стены стояла большая постель, весьма чистая, с шелковым, наборным из лоскутков, ватным одеялом. У третьей стены был комод. Странное дело: только что он начал прилаживать ключи к комоду, только что услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нем. Ему вдруг опять захотелось бросить все и уйти. Но это было только мгновение; уходить было поздно. Он даже усмехнулся на себя, как вдруг другая тревожная мысль ударила ему в голову. Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи, и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая. Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но отдернул руку; да и без того было видно. Крови между тем натекла уже целая лужа. Вдруг он заметил на ее шее снурок, дернул его, но снурок был крепок и не срывался; к тому же намок в крови. Он попробовал было вытащить так, из-за пазухи, но что-то мешало, застряло. В нетерпении он взмахнул было опять топором, чтобы

рубнуть по снурку тут же, по телу, сверху, но не посмел, и с трудом, испачкав руки и топор, после двухминутной возни, разрезал снурок, не касаясь топором тела, и снял; он не ошибся — кошелек. На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок; и тут же вместе с ними висел небольшой, замшевый, засаленный кошелек, с стальным ободком и колечком. Кошелек был очень туго набит; Раскольников сунул его в карман, не осматривая, кресты сбросил старухе на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню.

Он спешил ужасно, схватился за ключи и опять начал возиться с ними. Но как-то все неудачно: не вкладывались они в замки. Не то чтобы руки его так дрожали, но он все ошибался: и видит, например, что ключ не тот, не подходит, а все сует. Вдруг он припомнил и сообразил, что этот большой ключ, с зубчатой бородкой, который тут же болтается с другими маленькими, непременно должен быть вовсе не от комода, а от какой-нибудь укладки, и что в этой-то укладке, может быть, все и припрятано. Он бросил комод и тотчас же полез под кровать, зная, что укладки обыкновенно ставятся у старух под кроватями. Так и есть: стояла значительная укладка, побольше аршина в длину, с выпуклою крышей, обитая красным сафьяном, с утыканными по нем стальными гвоздиками. Зубчатый ключ как раз пришелся и отпер. Сверху, под белую простыней, лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром; под нею было шелковое платье, затем шаль, и туда, вглубь, казалось, все лежало одно тряпье. Прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки. "Красное, ну а на красном кровь неприметнее", — рассудилось было ему, и вдруг он опомнился: "Господи! С ума, что ли, я схожу?" — подумал он в испуге.

Но только что он пошевелил это тряпье, как вдруг, из-под шубки, выскользнули золотые часы. Он бросился все перевертывать. Действительно, между тряпьем были перемешаны золотые вещи — вероятно, все заклады, выкупленные и невыкупленные, — браслеты, цепочки, серьги, булавки и проч. Иные были в футлярах, другие просто обернуты в газетную бумагу, но аккуратно и бережно, в двойные листы, и кругом обвязаны тесемками. Нимало не медля, он стал набивать ими карманы панталон и пальто, не разбирая и не раскрывая свертков и футляров; но он не успел много набрать...

Вдруг послышалось, что в комнате, где была старуха, ходят. Он остановился и притих, как мертвый. Но все было тихо, стало быть, померещилось. Вдруг явственно послышался легкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Затем опять мертвая тишина, с минуту или с две. Он сидел на корточках у сундука и ждал едва переводя дух, но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни.

Среди комнаты стояла Лизавета, с большим узлом в руках, и смотрела в оцепенении на убитую сестру, вся белая как полотно и как бы не в силах крикнуть. Увидав его выбежавшего, она задрожала как лист, мелкою дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги; приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно, задом, стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор, смотря на него, но все не крича, точно ей воздуху не доставало, чтобы крикнуть. Он бросился на

нее с топором; губы ее перекосилились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда, они начинают чего-нибудь пугаться, пристально смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать. И до того эта несчастная Лизавета было проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо, хотя это был самый необходимо-естественный жест в эту минуту, потому что топор был прямо поднят над ее лицом. Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю часть лба, почти до темени. Она так и рухнулась. Раскольников совсем было потерялся, схватил ее узел, бросил его опять и побежал в прихожую.

Страх охватывал его всё больше и больше, особенно после этого второго, совсем неожиданного убийства. Ему хотелось поскорее убежать отсюда. И если бы в ту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя объявить, и не от страха даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждою минутою. Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку и даже в комнаты.

Но какая-то рассеянность, как будто даже задумчивость, стала понемногу овладевать им: минутами он как будто забывался или, лучше сказать, забывал о главном и прилеплялся к мелочам. Впрочем, взглянув на кухню и увидав на лавке ведро, наполовину полное воды, он догадался вымыть себе руки и топор... Тщательно вложил он топор в петлю, под пальто. Затем, сколько позволял, свет в тусклой кухне, осмотрел пальто, панталоны, сапоги. Снаружи, с первого взгляда, как будто ничего не было; только на сапогах были пятна. Он помочил тряпку и оттер сапоги. Он знал, впрочем, что нехорошо разглядывает, что, может быть, есть что-нибудь в глаза бросающееся, чего он не замечает. В раздумье стал он среди комнаты. Мучительная, темная мысль поднималась в нем, — мысль, что он сумасшествует и что в эту минуту не в силах ни рассудить, ни себя защитить, что вовсе, может быть, не то надо делать, что он теперь делает... "Боже мой! Надо бежать, бежать!" — пробормотал он и бросился в переднюю. Но здесь ожидал его такой ужас, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал.

Он стоял, смотрел и не верил глазам своим: дверь, наружная дверь, из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую ладонь приотворенная: ни замка, ни запора, все время, во все это время! Старуха не заперла за ним, может быть, из осторожности. Но боже! Ведь видел же он потом Лизавету! И как мог, как мог он не догадаться, что ведь вошла же она откуда-нибудь! Не сквозь стену же.

Он кинулся к дверям и наложил запор.

— Но нет, опять не то! Надо идти, идти...

Он снял запор, отворил дверь и стал слушать на лестницу.

Долго он выслушивал. Где-то далеко, внизу, вероятно под воротами, громко и визгливо кричали чьи-то два голоса, спорили и бранились. "Что они?.." Он уже хотел выйти, но вдруг этажом ниже с шумом растворилась дверь на лестницу, и кто-то стал сходить вниз, напевая какой-то мотив. "Как это они так все шумят!" — мелькнуло в его голове. Он опять притворил за собою дверь и переждал. Наконец все умолкло, ни души. Он уже ступил было шаг на лестницу, как вдруг опять послышались чьи-то новые шаги.

Эти шаги послышались очень далеко, еще в самом начале лестницы, но он очень хорошо и отчетливо помнил, что с первого же звука, тогда же стал подозревать почему-то, что это непременно сюда, в четвертый этаж, к старухе. Почему? Звуки, что ли, были такие особенные, знаменательные? Шаги были тяжелые, ровные, неспешные.

Вот уж он прошел первый этаж, вот поднялся еще; все слышней и слышней! Послышалась тяжелая одышка входившего. Вот уж и третий начался... Сюда! И вдруг показалось ему, что он точно окостенел, что это точно во сне, когда снится, что догоняют, близко, убить хотят, а сам точно прирос к месту и руками пошевелить нельзя.

И, наконец, когда уже гость стал подниматься в четвертый этаж, тут только он весь вдруг встрепенулся и успел-таки быстро и ловко проскользнуть назад из сеней в квартиру и притворить за собою дверь. Затем схватил запор и тихо, неслышно, насадил его на петлю. Инстинкт помогал. Кончив все, он притаился не дыша, прямо сейчас у двери. Незванный гость был уже тоже у дверей. Они стояли теперь друг против друга, как давеча он со старухой, когда дверь разделяла их, а он прислушивался.

Гость несколько раз тяжело отдохнул. "Толстый и большой, должно быть", подумал Раскольников, сжимая топор в руке. В самом деле, точно все это снилось. Гость схватился за колокольчик и крепко позвонил.

Как только звякнул жестяной звук колокольчика, ему вдруг как будто почудилось, что в комнате пошевелились. Несколько секунд он даже серьезно прислушивался. Незнакомец звякнул еще раз, еще подождал и вдруг, в нетерпении, изо всей силы стал дергать ручку у дверей. В ужасе смотрел Раскольников на прыгавший в петле крюк запора и с тупым страхом ждал, что вот-вот и запор сейчас выскочит. Действительно, это казалось возможным: так сильно дергали. Он было вздумал придержать запор рукой, но тот мог догадаться. Голова его как будто опять начинала кружиться. "Вот упаду!" — промелькнуло в нем, но незнакомец заговорил, и он тотчас же опомнился.

— Да что они там, дрыхнут или передудили их кто? Тррреклятые! — заревел он как из бочки. — Эй, Алена Ивановна, старая ведьма! Лизавета Ивановна, красота неописанная! Отворяйте! У, треклятые, спят они, что ли?..

В самую эту минуту вдруг мелкие, поспешные шаги послышались недалеко на лестнице. Подходил еще кто-то. Раскольников и не расслышал сначала.

— Неужели нет никого? — звонко и весело закричал подошедший, прямо обращаясь к первому посетителю, все еще продолжавшему дергать звонок. —

Здравствуйте, Кох!..

Переказ:

Молода людина впізнає Коха, який нещодавно програвся йому в більярд. Разом вони намагаються зрозуміти, чому стара лихварка не відчиняє. Молодий вирішує піти за двірником, а Кох залишається.

Цитата:

Кох остался, пошевелил еще раз тихонько звонком, и тот звякнул один удар; потом тихо, как бы размышляя и осматривая, стал шевелить ручку двери, притягивая и опуская ее, чтоб убедиться еще раз, что она на одном запоре. Потом пыхтя нагнулся и стал смотреть в замочную скважину; но в ней изнутри торчал ключ и, стало быть, ничего не могло быть видно.

Раскольников стоял и сжимал топор. Он был точно в бреду. Он готовился даже драться с ними, когда они войдут. Когда стучались и сговаривались, ему несколько раз вдруг приходила мысль кончить все разом и крикнуть им из-за дверей. Порой хотелось ему начать ругаться с ними, дразнить их, покамест не отперли. "Поскорей бы уж"! — мелькнуло в его голове.

— Однако он, черт.

Время проходило, минута, другая, — никто не шел. Кох стал шевелиться.

— Однако черт!.. — закричал он вдруг и в нетерпении, бросив свой караул, отправился тоже вниз, торопясь и стуча по лестнице сапогами. Шаги стихли.

— Господи, что же делать!

Раскольников снял запор, приотворил дверь — ничего не слышно, и вдруг, совершенно уже не думая, вышел, притворил как мог плотнее дверь за собой и пустился вниз.

Он уже сошел три лестницы, как вдруг послышался сильный шум ниже, — куда деваться! Никуда-то нельзя было спрятаться. Он побежал было назад, опять в квартиру.

— Эй, леший, черт! Держи!

С криком вырвался кто-то вниз из какой-то квартиры и не то что побежал, а точно упал вниз, по лестнице, крича во всю глотку:

— Митька! Митька! Митька! Митька! Митька! Шут те дери-и-и!

Крик закончился взвизгом; последние звуки слышались уже на дворе; все затихло. Но в то же самое мгновение несколько человек, громко и часто говоривших, стали шумно подниматься на лестницу. Их было трое или четверо. Он расслышал звонкий голос молодого. "Они!"

В полном отчаянии пошел он им прямо навстречу: будь что будет! Остановят, все пропало, пропустят, тоже все пропало: запомнят. Они уже сходились; между ними оставалась всего одна только лестница — и вдруг спасение! В нескольких ступеньках от него, направо, пустая и настезь отпертая квартира, та самая квартира второго этажа, в которой красили рабочие, а теперь, как нарочно, ушли. Они-то, верно, и выбежали сейчас с таким криком. Полы только что окрашены, среди комнаты стоят кадочка и

черепок с краской и с мазилкой. В одно мгновение прошмыгнул он в отворенную дверь и притаился за стеной, и было время: они уже стояли на самой площадке. Затем повернули вверх и прошли мимо, в четвертый этаж, громко разговаривая. Он выждал, вышел на цыпочках и побежал вниз.

Никого на лестнице! Под воротами тоже. Быстро прошел он подворотню и повернул налево по улице.

Он очень хорошо знал, он отлично хорошо знал, что они, в это мгновение, уже в квартире, что очень удивились, видя, что она отперта, тогда как сейчас была заперта, что они уже смотрят на тела и что пройдет не больше минуты, как они догадаться и совершенно сообразят, что тут только что был убийца и, успел куда-нибудь спрятаться, проскользнуть мимо них, убежать; догадаться, пожалуй, и о том, что он в пустой квартире сидел, пока они вверх проходили. А между тем ни под каким видом не смел он очень прибавить шагу, хотя до первого поворота шагов сто оставалось. "Не скользнуть ли разве в подворотню какую-нибудь и переждать где-нибудь на незнакомой лестнице? Нет, беда! А не забросить ли куда топор? Не взять ли извозчика? Беда! беда!"

Наконец, вот и переулок; он поворотил в него полумертвый; тут он был уже наполовину спасен и понимал это: меньше подозрений, к тому же тут сильно народ сновал, и он стирался в нем, как песчинка. Но все эти мучения до того его обессилили, что он едва двигался. Пот шел из него каплями; шея была вся смочена. "Ишь нарезался!" — крикнул кто-то ему, когда он вышел на канаву.

Он плохо теперь помнил себя; чем дальше, Тем хуже. Он помнил, однако, как вдруг, выйдя на канаву, испугался, что мало народу и что тут приметнее, и хотел было поворотить назад в переулок. Несмотря на то, что чуть не падал, он все-таки сделал крюку и пришел домой с другой совсем стороны...

Частина друга

Переказ:

Удома Раскольников знищує сліди злочину. Двірник приносить йому повістку в дільницю за несплату грошей хазяйці квартири. У дільниці він чує про вбивство лихварки і неприємніє, потім пояснює, що він хворий. Під час хвороби Раскольникова його відвідує приятель Разуміхін, який намагається підтримати друга матеріально і морально. Раскольников, опритомнівши, ховає речі старої під камінь у провулку. На вулиці Раскольников майже потрапляє під колеса екіпажу. Символічним є відмова від будь-якої допомоги — Раскольников цим неначе "відрізує" себе від усього світу.

Цитата:

На Николаевском мосту ему пришлось еще раз вполне очнуться вследствие одного весьма неприятного для него случая. Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски, за то, что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмотря на то, что кучер раза три или четыре ему кричал. Удар кнута так разозлил его, что он, отскочив к перилам (неизвестно почему он шел по самой середине моста, где ездят, а не ходят), злобно заскрежетал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех.

— И за дело!

— Выжига какая-нибудь.

— Известно, пьяным представится да нарочно и лезет под колеса; а ты за него отвечай.

— Тем промышляют, почтенный, тем промышляют...

Но в ту минуту, как он стоял у перил и все еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляске, потирая спину, вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Он посмотрел; пожилая купчиха, в головке и козловых башмаках, и с нею девушка, в шляпке и с зеленым зонтиком, вероятно дочь. "Прими, батюшка, ради Христа". Он взял, и они прошли мимо. Денег двугривенный. По платью и по виду они очень могли принять его за нищего, за настоящего собирателя грошей на улице, а подаче целого двугривенного он, наверно, обязан был удару кнута, который их разжалобил.

Он зажал двугривенный в руку, прошел шагов десять и оборотился лицом к Неве, по направлению дворца. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение. Боль от кнута утихла, и Раскольников забыл про удар; одна беспокойная и не совсем ясная мысль занимала его теперь исключительно. Он стоял и смотрел вдаль долго и пристально; это место было ему особенно знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, — чаще всего, возвращаясь домой, — случалось ему, может быть раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина... Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее. Теперь вдруг резко вспомнил он про эти прежние свои вопросы и недоумения, показалось ему, что не нечаянно он вспомнил теперь про них. Уж одно то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился, как прежде, как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересоваться, какими интересовался... еще так недавно. Даже чуть не смешно ему стало и в то же время сдавило грудь до боли. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь все это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам, и все, все... Казалось, он улетал куда-то вверх, и все исчезало в глазах его... Сделав одно невольное движение рукой он вдруг ощутил в кулаке своем зажатый двугривенный. Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду; затем повернулся и пошел домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в



ету минуту.

Переказ:

Слідство йде невірним шляхом, підозрюючи в убивстві Миколая.

До Раскольникова прибуває Лужин, наречений Дуні, і повідомляє про приїзд матері і сестри, чий номер у готелі він сплачує. Неприязне ставлення Раскольникова до Петра Петровича Лужина призводять до сварки.

Раскольников, як магнітом, тягне на місце злочину, але його виганяють з квартири вбитих.

Родіон вагається: чи покінчити життя самогубством, як жінка, що скочила з мосту, чи піти до поліцейської дільниці і в усьому зізнатися. Почувши шум на вулиці, Раскольников проштовхується у натовпі і бачить Мармеладова, що п'яний потрапив під копита коня. Раскольников несе пораненого додому, де той і помирає. Перед смертю Мармеладов опритомнює і просить пробачення у дочки Соні. На похорон Мармеладова Раскольников віддає всі гроші, що перед цим надіслала йому мати.

Родіон не може уявити собі зустрічі з рідними після скоєного вбивства — побачивши вдома мати і сестру, він непритомніє.

Частина третя

Переказ:

Опритомнівши, Раскольников намагається вмовити Дуню не виходити заміж за Лужина; Разуміхін, якому сподобалась сестра приятеля, теж вмовляє її не робити цей крок. Лужин пише записку Дуні з проханням не приймати у себе Родіона в його присутності. Дівчина вирішує обов'язково запросити брата. Раскольников пояснює матері, чому останні гроші він віддав родині Мармеладових. У квартиру Раскольникова приходить Соня і запрошує Родіона на помини свого батька. Раскольников розповідає Разуміхину, що в заставі старої лихварки залишились його каблучка і годинник. Разуміхін радить Раскольникову піти до слідчого Порфирія Петровича, щоб забрати заставу. За Сонею і Раскольниковим слідкує Свидригайлов. Раскольников і Разуміхін ідуть до слідчого, де й відбувається дискусія щодо процесу і сенсу життя. Порфирій, ще раніше ознайомившись зі статтею Раскольникова про поділ людей на дві групи — "тварей тремтливых" і "владу маючих" — починає підозрювати Родіона у скоєнні ідейного злочину.

Раскольников іде додому, щоб зайвий раз перевірити, чи немає доказів його вини — речей лихварки тощо.

Якийсь міщанин називає Раскольника вбивцею — це призводить до нового нападу напівбожевілля Родіона.

Цитата:

Минутами он чувствовал, что как бы бредит: он впадал в лихорадочно-восторженное настроение.

"Старушонка вздор! — думал он горячо и порывисто, — старуха, пожалуй, что и ошибка, не в ней и дело! Старуха была только болезнь... я переступить поскорее хотел... я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не

переступил, на этой стороне остался... Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается... Принцип? За что давеча дурачок Разумихин социалистов бранил? Трудлюбивый народ и торговый, "общим счастьем" занимаются... Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда ее больше не будет, я не хочу дожидаться "всеобщего счастья". Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить. Что ж? Я только не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане свой рубль, в ожидании "всеобщего счастья". "Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствие сердца". Ха-ха! Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу... Эх, эстетическая я вошь, и больше ничего...<...>

Потому, потому я окончательно вошь, — прибавил он, скрежеща зубами, — потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью!

Переказ:

Удома Раскольникову знову наснився сон, що стара лихварка жива і наспіхається з нього. І вдруге, вже уві сні, Раскольников здійснює вбивство лихварки. Коли він прокидається, то бачить у своїй кімнаті Аркадія Івановича Свидригайлова.

Частина четверта

У Свидригайлових колись працювала сестра Раскольникова, і Аркадій Іванович за нею "привдаряв". Дуня була вимушена покинути це місце роботи через брудні натяки Свидригайлова та ревності хазяйки Марфи Іванівни.

Свидригайлов розповідає Раскольникову про свої марення: після смерті дружини до нього ніби навідується її дух.

Свидригайлов приїхав до Петербурга, щоб розладнати шлюб Лужина і Дуні, який у свій час влаштовувала Марфа Іванівна. Він повідомляє, що після смерті Марфи Іванівни за її заповітом Дуні належить 3 тисячі карбованців.

Лужин, Раскольников і Разуміхін зустрічаються у готельному номері. Лужин розповідає, що Свидригайлов став причиною смерті не тільки своєї дружини, але й лихварки Ресслих і слуги. Відбувається сварка між Раскольниковим і Лужиним. Пульхерія Олександрівна і Дуня підтримують сина і брата, вбачаючи у поведінці Петра Петровича образу і намагання маніпулювати беззахисними жінками. Лужина виганяють, але він не полишає думки про повернення Дуні і помсту Раскольникову.

Цитата:

Петр Петрович несколько секунд смотрел на него с бледным и искривленным от злости лицом, затем повернулся, вышел, и уж, конечно, редко кто-нибудь уносил на кого в своем сердце столько злобной ненависти, как этот человек на Раскольникова. Его, и его одного, он обвинял во всем. Замечательно, что, уже спускаясь с лестницы, он все еще воображал, что дело еще, может быть, совсем не потеряно и, что касается одних дам, даже "весьма и весьма" поправимое.

III

Цитата:

Главное дело было в том, что он, до самой последней минуты, никак не ожидал

подобной развязки. Он куражился до последней черты, не предполагая даже возможности, что две нищие и незащищенные женщины могут выйти из-под его власти. Убеждению этому много помогли тщеславие и та степень самоуверенности, которую лучше всего назвать самовлюбленностью. Петр Петрович, пробившись из ничтожества, болезненно привык любоваться, собою, высоко ценил свой ум и способности и даже иногда, наедине, любовался своим лицом в зеркале. Но более всего на свете любил и ценил он, добытые трудом и всякими средствами, свои деньги: они равняли его со всем, что было выше его.

Напоминая теперь с горечью Дуне о том, что он решился взять ее, несмотря на худую о ней молву, Петр Петрович говорил вполне искренно и даже чувствовал глубокое негодование против такой "черной неблагодарности". А между тем, сватаясь тогда за Дуню, он совершенно уже был убежден в нелепости всех этих сплетен, опровергнутых всенародно самой Марфой Петровной и давно уже оставленных всем городишком, горячо оправдывавшим Дуню. Да он и сам не отрекся бы теперь от того, что все это уже знал и тогда. И тем не менее он все-таки высоко ценил свою решимость возвысить Дуню до себя и считал это подвигом. Выговаривая об этом сейчас Дуне, он выговаривал свою тайную, возлелеянную им мысль, на которую он уже не раз любовался, и понять не мог, как другие могли не любоваться на его подвиг. Явившись тогда с визитом к Раскольникову, он вошел с чувством благодетеля, готовящегося пожать плоды и выслушать весьма сладкие комплименты. И уж, конечно, теперь, сходя с лестницы, он считал себя в высочайшей степени обиженным и непризнанным.

Дуня же была ему просто необходима; отказаться от нее для него было невыносимо. Давно уже, уже несколько лет, со сладко мечтал он о женитьбе, но все прикапливал денег и ждал. Он с упоением помышлял, в глубочайшем секрете, о девице благонравной и бедной (непременно бедной), очень молоденькой, очень хорошенькой, благородной и образованной, очень запуганной, чрезвычайно много испытавшей несчастий и вполне перед ним приникшей, такой, которая бы всю жизнь считала его спасением своим, благоговела перед ним, подчинялась, удивлялась ему, и только ему одному. Сколько сцен, сколько сладостных эпизодов создал он в воображении на эту соблазнительную и игривую тему, отдыхая в тиши от дел! И вот мечта стольких лет почти уже осуществлялась: красота и образование Авдотьи Романовны поразили его; беспомощное положение ее раззадорило его до крайности. Тут являлось даже несколько более того, о чем он мечтал: явилась девушка гордая, характерная, добродетельная, воспитанием и развитием выше его (он чувствовал это), и такое-то существо будет рабски благодарно ему всю жизнь за его подвиг и благоговейно уничтожится перед ним, а он-то будет безгранично и всецело владычествовать!.. Как нарочно, незадолго перед тем, после долгих соображений и ожиданий, он решил наконец окончательно переменить карьеру и вступить в более обширный круг деятельности, а с тем вместе, мало-помалу, перейти и в более высшее общество, о котором он давно уже с сладострастием подумывал... Одним словом, он решился попробовать Петербурга. Он знал, что женщинами можно "весьма и весьма" много

выиграть. Обаяние прелестной, добродетельной и образованной женщины могло удивительно скрасить его дорогу, привлечь к нему, создать ореол... и вот все рушилось! Этот теперешний внезапный, безобразный разрыв подействовал на него как удар грома. Это была какая-то безобразная шутка, нелепость! Он только капельку покуражился; он даже не успел и высказаться, он просто пошутил, увлекся, а кончилось так серьезно! Наконец, ведь он уже даже любил по-своему Дуню, он уже владычествовал над нею в мечтах своих — и вдруг!.. Нет! Завтра же, завтра же все это надо восстановить, залечить исправить, а главное — уничтожить этого заносчивого молокососа, мальчишку, который был всему причиной. С болезненным ощущением припоминался ему, тоже как-то невольно, Разумихин... но, впрочем, он скоро с этой стороны успокоился: "Еще бы и этого-то поставить с ним рядом!" Но кого он в самом деле серьезно боялся, — так это Свидригайлова... Одним словом, предстояло много хлопот.

Переказ:

Разуміхін остаточно віддає своє серце Дуні і готовий із завзятістю працювати для покращання життя родини, використавши 3 тисячі карбованців, що успадковані Дунею від Марфи Іванівни.

Раскольников просить Разумихина не залишати матір і сестру самих і йде до Соні. Він убачає в цій беззахисній дівчині таку ж грішну душу, яка перейшла межу, як і він сам. Соня розповідає Раскольникову, що на цьому світі її тримає лише родина. Виявляється, Соня дружила з Єлизаветою і та їй подарувала Євангеліє. Бажання Соні почитати Євангеліє Раскольникову співпадає з його почуттями.

Цитата:

— Ты с Лизаветой дружна была?

— Да... Она была справедливая... она приходила... редко... нельзя было. Мы с ней читали и... говорили. Она бога узрит.

Странно звучали для него эти книжные слова, и опять новость: какие-то таинственные сходки с Лизаветой, и обе — юродивые.

"Тут и сам станешь юродивым! заразительно!" — подумал он. — Читай! — воскликнул он вдруг настойчиво и раздражительно.

Соня все колебалась. Сердце ее стучало. Не смела как-то она ему читать. Почти с мучением смотрел он на "несчастную помешанную".

— Зачем вам? Ведь вы не веруете?.. — прошептала она. тихо и как-то задыхаясь.

— Читай! Я так хочу! — настаивал он, — читала же Лизавете!

Соня развернула книгу и отыскиала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она, и все не выговаривалось первого слога.

"Был же болен некто Лазарь, из Вифании..." — произнесла она наконец, с усилием, но вдруг, с третьего слова, голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло, и в груди стеснилось.

Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решалась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении. Он слишком

хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать все свое. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, тайну ее, может быть еще с самого отрочества, еще в семье, подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь, и узнал наверно, что хоть и тосковала она и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно ему, чтоб он слышал, и непременно теперь — "что бы там ни вышло потом!"... Он прочел это в ее глазах, понял из. ее восторженного волнения... Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресекающую в начале стиха ее голос, и продолжала чтение одиннадцатой главы Евангелия Иоаннова. Так дочла она до 19-го стиха:

"И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услыша, что идет Иисус, пошла навстречу ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у бога, даст тебе бог".

Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос...

"Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему:

(и как бы с болью переводя дух,. Соня отдельно и с силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала:)

Так, господи! Я верую, что ты Христос, сын божий, грядущий в мир".

Она было остановилась, быстро подняла было на него глаза, но поскорей пересилила себя и стала читать далее. Раскольников сидел и слушал неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол и смотря в сторону. Дочли до 32-го стиха.

"Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его; и сказала ему: господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам восскорбел духом и возмутился. И сказал: где вы положили его? Говорят ему: господи! поди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтоб и этот не умер?"

Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее: да, так и есть! Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе: "не мог ли сей, отверзший очи слепому..." — она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные,

падут, зарыдают и уверуют... "И он, он — тоже ослепленный и неверующий, — он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же", — мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания.

"Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: господи! уже смердит; ибо четыре дни, как он во гробе".

Она энергично ударила на слово: четыре.

"Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав сие, воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший,

(громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы в очию сама видела:)

обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами; и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его; пусть идет.

Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него".

Далее она не читала и не могла читать, закрыла книжку и быстро встала со стула.

— Все об воскресении Лазаря, — отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Прошло минут пять или более.

— Я о деле пришел говорить, — громко и нахмурившись проговорил вдруг Раскольников, встал и подошел к Соне. Та молча подняла на него глаза. Взгляд его был особенно суров, и какая-то дикая решимость выражалась в нем.

— Я сегодня родных бросил, — сказал он, — мать и сестру. Я не пойду к ним теперь. Я там все разорвал.

— Зачем? — как ошеломленная спросила Соня. Давешняя встреча с его матерью и сестрой оставила в ней необыкновенное впечатление, хотя и самой ей неясное. Известие о разрыве выслушала она почти с ужасом.

— У меня теперь одна ты, — прибавил он. — Пойдем вместе... Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдем!

Глаза его сверкали. "Как полоумный!" — подумала в свою очередь Соня.

— Куда идти? — в страхе спросила она и невольно отступила назад.

— Почему ж я знаю? Знаю только, что по одной дороге, наверно знаю, — и только. Одна цель!

Она смотрела на него, и ничего не понимала. Она понимала только, что он ужасно, бесконечно несчастен.

— Никто ничего не поймет из них, если ты будешь говорить им, — продолжал он, —

а я понял. Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел.

— Не понимаю... — прошептала Соня.

— Потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила... смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... свою (это все равно!). Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на Сенной... Но ты выдержать не можешь, и если останешься одна, сойдешь с ума, как и я. Ты уж и теперь как помешанная; стало быть, нам вместе идти, по одной дороге! Пойдем!..

— Что же, что же делать? — истерически плача и ломая руки, повторяла Соня.

— Что делать? Сломать что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя! Что? Не понимаешь? После поймешь... Свободу и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель! Помни это! Это мое тебе напутствие! Может, я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про все сама, и тогда Припомни эти теперешние слова. И когда-нибудь, потом, через годы, с жизнью, может, и поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай!

Соня вся вздрогнула от испуга.

— Да разве вы знаете, кто убил? — спросила она, леденя от ужаса и дико смотря на него.

— Знаю и скажу... Тебе, одной тебе! Я тебя выбрал. Я не прощения приду просить к тебе, я просто скажу. Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе, еще тогда, когда отец про тебя говорил и когда Лизавета была жива, я это подумал. Прощай. Руки не давай. Завтра!

Он вышел. Соня смотрела на него как на помешанного; но она и сама была как безумная и чувствовала это. Голова у ней кружилась. "Господи! как он знает, кто убил Лизавету? Что значили эти слова? Страшно это!" Но в то же время мысль не приходила ей в голову. Никак! Никак!.. "О, он должен быть ужасно несчастен!.. Он бросил мать и сестру. Зачем? Что было? И что у него в намерениях? Что это он ей говорил? Он ей поцеловал ногу и говорил... говорил (да, он ясно это сказал), что без нее уже жить не может... О господи!"

В лихорадке и в бреду провела всю ночь Соня. Она вскакивала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадочным сном, и ей снились Полечка, Катерина Ивановна, Лизавета, чтение Евангелия и он... он, с его бледным лицом, с горящими глазами... Он целует ей ноги, плачет... О господи!

За дверью справа, за тою самою дверью, которая отделяла квартиру Сони от квартиры Гертруды Карловны Ресслих, была комната промежуточная... А между тем, все это время, у двери в пустой комнате простоял господин Свидригайлов и, притаившись, подслушивал... Разговор показался ему занимательным и знаменательным, и очень, очень понравился.

Переказ:

Раскольников іде до слідчого Порфирія Петровича, який здогадується про злочин Родіона, але вдається до своєрідної тактики примушення у зізнанні.

Цитата:

Порфирий Петрович перевел на минутку дух. Он так и сыпал, не уставая, то бессмысленно пустые фразы, то вдруг пропускал какие-то загадочные словечки и тотчас же опять сбивался на бессмыслицу. По комнате он уже почти бегал, все быстрее и быстрее передвигая свои жирные ножки, все смотря в землю, засунув правую руку за спину, а левою непрерывно помахивая и выделявая разные жесты, каждый раз удивительно не подходившие к его словам. Раскольников вдруг заметил, что, бегая по комнате, он раза два точно как будто останавливался подле дверей, на одно мгновение, и как будто прислушивался... "Ждет он, что ли, чего-нибудь?"

— А это вы, действительно, совершенно правы-с, — опять подхватил Порфирий, весело, с необыкновенным простодушием смотря на Раскольникова (отчего тот так и вздрогнул и мигом приготовился), — действительно, правы-с, что над формами-то юридическими с таким остроумием изволили посмеяться, хе-хе! Уж эти (некоторые, конечно) глубокомысленно-психологические приемы-то наши крайне смешны-с, да, пожалуй, и бесполезны-с, к случаю если формой-то очень стеснены-с. Да-с... опять—таки я про форму: ну, признавай или, лучше сказать, подозревай я кого-нибудь того, другого, третьего, так сказать, за преступника-с, по какому-нибудь дельцу, мне порученному... Вы ведь в юристы готовитесь, Родион Романович?

— Да, готовился...

— Ну, так вот вам, так сказать, и примерчик на будущее, — то есть не подумайте, чтоб я вас учить осмелился: эвона ведь вы какие статьи о преступлениях печатаете! Нет-с, а так, в виде факта, примерчик осмелюсь представить, — так вот считай я, например, того, другого, третьего за преступника, ну зачем, спрошу, буду я его раньше срока беспокоить, хотя бы я и улики против него имел-с?..

Что такое: убежит! Это форменное; а главное-то не то; не по этому одному он не убежит от меня, что некуда убежать: он у меня психологически не убежит, хе-хе! Каково выраженьице-то! Он по закону природы у меня не убежит, хотя бы даже и было куда убежать. Видали бабочку перед свечкой? Ну, так вот он все будет, все будет около меня, как около свечи, кружиться; свобода не мила станет, станет задумываться, запутываться, сам себя кругом запутает, как в сетях, затревожит себя насмерть!.. Мало того: сам мне какую-нибудь математическую штучку, вроде дважды двух приготовит, — лишь дай я ему только антракт подлиннее... И все будет, все будет около меня же круги давать, все суживая да суживая радиус, и — хлоп! Прямо мне в рот и влетит, я его и проглочу-с, а это уж очень приятно-с, хе-хе-хе! Вы не верите?..

Раскольников не отвечал, он сидел бледный и неподвижный, все с тем же напряжением всматриваясь в лицо Порфирия.

"Урок хорош! — думал он, холодея. — Это даже уж и не кошка с мышью, как вчера было. И не силу же он свою мне бесполезно выказывает и... подсказывает: он гораздо умнее для этого! Тут цель другая, какая же? Эй, вздор, брат, пугаешь ты меня и хитришь! Нет у тебя доказательств, и не существует вчерашний человек! А ты просто с толку сбить хочешь, раздражить меня хочешь преждевременно, да в этом состоянии и



прихлопнуть, только врешь, оборвешься, оборвешься! Но зачем же, зачем же до такой степени мне подсказывать?.. На больные, что ли, нервы мои рассчитывает?.. Нет, брат, врешь, оборвешься, хотя ты что-то и приготовил... Ну, вот и посмотрим, что такое ты там приготовил"...

— Порфирий Петрович! — проговорил он громко и отчетливо, хотя едва стоял на дрожавших ногах, — я, наконец, вижу ясно, что вы положительно подозреваете меня в убийстве этой старухи и ее сестры Лизаветы. С своей стороны объявляю вам, что все это мне давно уже надоело. Если находите, что имеете право меня законно преследовать, то преследуйте; арестовать, то арестуйте. Но смеяться себе в глаза и мучить себя я не позволю.

Вдруг губы его задрожали, глаза загорелись бешенством, и сдержанный до сих пор голос зазвучал.

— Не позволю-с! — крикнул он вдруг, изо всей силы стукнув кулаком по столу, — слышите вы это, Порфирий Петрович? Не позволю!

— Ах, господи, да что это опять! — вскрикнул, по-видимому в совершенном испуге, Порфирий Петрович, — батюшка! Родион Романович! Родименький! Отец! Да что с вами?

— Не позволю! — крикнул было другой раз Раскольников.

— Батюшка, потише! Ведь услышат, придут! Ну что тогда мы им скажем, подумайте! — прошептал в ужасе Порфирий Петрович, приближая свое лицо к самому лицу Раскольникова.

— Не позволю, не позволю! — машинально повторил Раскольников, но тоже вдруг совершенным шепотом.

Порфирий быстро отвернулся и побежал отворить окно.

— Воздуху пропустить свежего! Да водицы бы вам, голубчик, испить, ведь это припадок-с! — И он бросился было к дверям приказать воды, но тут же в углу, кстати, нашелся графин с водой.

— Батюшка, испейте, — шептал он, бросаясь к нему с графином, — авось поможет... — Испуг и самое участие Порфирия Петровича были до того натуральны, что Раскольников умолк и с диким любопытством стал его рассматривать. Воды, впрочем, он не принял.

— Родион Романович! миленький! да вы этак себя с ума сведете, уверяю вас, э-эх! А-ах! Выпейте-ка! Да выпейте хоть немножечко!

Он-таки заставил его взять стакан с водой в руки. Тот машинально поднес было его к губам, но, опомнившись, с отвращением поставил на стол.

— Да-с, припадок у нас был-с! Этак вы опять, голубчик, прежнюю болезнь себе возвратите, — закудаhtал с дружественным участием Порфирий Петрович, впрочем, все еще с каким-то растерявшимся видом! — Господи! Да как же этак себя не беречь? Вот и Дмитрий Прокофьевич ко мне вчера приходил, — согласен, согласен-с, у меня характер язвительный, скверный, а они вот что из этого вывели!.. Господи! Пришел вчера, после вас, мы обедали, говорил-говорил, я только руки расставил; ну, думаю... ах

ты, господи! От вас, что ли, он приходил? Да садитесь же, батюшка, присядьте ради Христа!

— Нет, не от меня! Но я знал, что он к вам пошел и зачем пошел, — резко ответил Раскольников.

— Знали?

— Знал. Ну что же из этого?

— Да то же, батюшка, Родион Романович, что я не такие еще ваши подвиги знаю; обо всем известен-с! Ведь я знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили, под самую ночь, когда смерклось, да в колокольчик стали звонить, да про кровь спрашивали, да работников и дворников с толку сбили. Ведь я понимаю настроение-то ваше душевное, тогдашнее-то... да ведь все-таки этак вы себя просто с ума сведете, ей-богу-с! Закружитесь! Негодование-то в вас уж очень сильно кипит-с, благородное-с, от полученных обид, сперва от судьбы, а потом от квартальных, вот вы и мечетесь туда и сюда, чтобы, так сказать, поскорее заговорить всех заставить и тем все разом покончить, потому что надоели вам эти глупости, и все подозрения эти. Ведь так? Угадал-с настроение-то?.. Только вы этак не только себя, да и Разумихина у меня закружите; ведь слишком уж он добрый человек для этого, сами знаете. У вас-то болезнь, а у него добродетель, болезнь-то и выходит к нему прилипчивая... Я вам, батюшка, вот когда успокоитесь, расскажу... да садитесь же, батюшка, ради Христа! Пожалуйста, отдохните, лица на вас нет; да присядьте же.

Раскольников сел; дрожь его проходила, и жар выступал во всем теле. В глубоком изумлении, напряженно слушал он испуганного и дружески ухаживавшего за ним Порфирия Петровича. Но он не верил ни единому его слову, хотя ощущал какую-то странную склонность поверить. Неожиданные слова Порфирия о квартире совершенно его поразили. "Как же это, он, стало быть, знает про квартиру-то? — подумалось ему вдруг, — и сам же мне и рассказывает!"

— Да-с, был такой почти точно случай, психологический, в судебной практике нашей-с, болезненный такой случай-с, — продолжал скороговоркой Порфирий. — Тоже наклепал один на себя убийство-с, да еще как наклепал-то: целую галлюцинацию подвел, факты представил, обстоятельства рассказал, спутал, сбил всех и каждого. А чего? Сам он, совершенно неумышленно, отчасти, причиной убийства был, но только отчасти, и как узнал про то, что он убийцам дал повод, затосковал, задурманился, стало ему представляться, повихнулся совсем, да и уверил сам себя, что он-то и есть убийца!... Бред у вас! Это все у вас просто в бреду одном делается!..

На мгновение все так и завертелось кругом Раскольникова...

Раскольников гордо и с презрением посмотрел на него.

— Одним словом, — настойчиво и громко сказал он, вставая и немного оттолкнув при этом Порфирия, — одним словом, я хочу знать: признаете ли вы меня окончательно свободным от подозрений или нет? Говорите, Порфирий Петрович, говорите положительно и окончательно, и скорее, сейчас!

— Эх ведь комиссия! Ну, уж комиссия же с вами, — вскричал Порфирий с

совершенно веселым, лукавым и нисколько не встревоженным видом. — Да и к чему вам знать, к чему вам так много знать, коли вас еще и не начали беспокоить нисколько! Ведь вы как ребенок: дай да подай огонь в руки! И зачем вы так беспокоитесь? Зачем сами-то вы так к нам напрашиваетесь, из каких причин? А? Хе-хе-хе!

— Повторяю вам, — вскричал в ярости Раскольников, — что не могу дольше переносить...

— Чего-с? Неизвестности-то? — перебил Порфирий.

— Не язвите меня! Я не хочу!.. Говорю вам, что не хочу!.. Не могу и не хочу!.. Слышите! Слышите! — крикнул он, стукнув опять кулаком по столу.

— Да тише, тише! Ведь услышат! Серьезно предупреждаю: поберегите себя. Я не шучу-с! — проговорил шепотом Порфирий, но на этот раз в лице его уже не было давешнего бабьи-добродушного и испуганного выражения; напротив, теперь он прямо приказывал, строго, нахмутив брови и как будто разом нарушая все тайны и двусмысленности. Но это было только на мгновение. Озадаченный было Раскольников вдруг впал в настоящее исступление; но странно: он опять послушался приказания говорить тише, хотя и был в самом сильном пароксизме бешенства.

— Я не дам себя мучить! — зашептал он вдруг по-давешнему, с болью и с ненавистию мгновенно сознавая в себе, что не может не подчиниться приказанию, и приходя от этой мысли еще в большее бешенство, — арестуйте меня, обыскивайте меня, но извольте действовать по форме, а не играть со мной-с! Не смейте...

— Да не беспокойтесь же вы о форме, — перебил Порфирий, с прежнею лукавою усмешкой и как бы даже с наслаждением любясь Раскольниковым, — я вас, батюшка, пригласил теперь по-домашнему, совершенно этак по-дружески!

— Не хочу я вашей дружбы и плюю на нее! Слышите ли? И вот же: беру фуражку и иду. Ну-тка, что теперь скажешь, коли намерен арестовать?

Он схватил фуражку и пошел к дверям.

— А сюрпризик-то не хотите разве посмотреть? — захихикал Порфирий, опять схватывая его немного повыше локтя и останавливая у дверей. Он, видимо, становился все веселее и игривее, что окончательно выводило из себя Раскольникова.

— Какой сюрпризик? что такое? — спросил он, вдруг останавливаясь и с испугом смотря на Порфирия.

— Сюрпризик-с, вот тут, за дверью у меня сидит, хе-хе-хе! (Он указал пальцем на запертую дверь в перегородке, которая вела в казенную квартиру его.) — Я и на замок припер, чтобы не убежал.

— Что такое? где? что?.. — Раскольников подошел было к двери и хотел отворить, но она была заперта.

— Заперта-с, вот и ключ!

И в самом деле, он показал ему ключ, вынув из кармана...

— Я все, все понимаю! — подскочил к нему Раскольников. — Ты лжешь и дразнишь меня, чтоб я себя выдал...

— Да уж больше и нельзя себя выдать, батюшка, Родион Романыч. Ведь вы в исступление пришли. Не кричите, ведь я людей позову-с!

— Лжешь, ничего не будет! Зови людей! Ты знал, что я болен, и раздражить меня хотел, до бешенства, чтоб я себя выдал, вот твоя цель! Нет, ты фактов подавай! Я все понял! У тебя фактов нет, у тебя одни только дрянные, ничтожные догадки, заметовские!..

Ты знал мой характер, до испуга меня довести хотел, а потом и огорошить вдруг попами да депутатами... Ты их ждешь? а? Чего ждешь? Где? Подавай!

— Ну какие тут депутаты-с, батюшка! Вообразится же человеку! Да этак по форме и действовать-то нельзя, как вы говорите, дела вы, родимый, не знаете... А форма не уйдет-с, сами увидите!.. — бормотал Порфирий, прислушиваясь к дверям.

Действительно, в это время у самых дверей в другой комнате слышался как бы шум.

— А, идут! — вскричал Раскольников, — ты за ними послал!.. Ты их ждал! Ты рассчитал... Ну, подавай сюда всех: депутатов, свидетелей, чего хочешь... давай! Я готов! готов!..

Но тут случилось странное происшествие, нечто до того неожиданное, при обыкновенном ходе вещей, что уже, конечно, ни Раскольников, ни Порфирий Петрович на такую развязку и не могли рассчитывать.

## VI

Потом, при воспоминании об этой минуте, Раскольникову представлялось все в таком виде.

Послышавшийся за дверью шум вдруг быстро увеличился, и дверь немного приотворилась.

— Что такое? — крикнул с досадой Порфирий Петрович. — Ведь я предупредил...

На мгновение ответа не было, но видно было, что за дверью находилось несколько человек и как будто кого-то отталкивали.

— Да Что там такое? — встревоженно повторил Порфирий Петрович.

— Арестанта привели, Николая, — слышался чей-то голос.

— Не надо! Прочь! Подождать!.. Зачем он сюда залез! Что за беспорядок! — закричал Порфирий, бросаясь к дверям.

— Да он... — начал было опять тот же голос и вдруг осекся.

Секунды две не более происходила настоящая борьба; потом вдруг как бы кто-то кого-то с силою оттолкнул, и вслед за тем какой-то очень бледный человек шагнул прямо в кабинет Порфирия Петровича.

Вид этого человека с первого взгляда был очень странный. Он глядел прямо перед собою, но как бы никого не видя. В глазах его сверкала решимость, но в то же время смертная бледность покрывала лицо его, точно его привели на казнь. Совсем побелевшие губы его слегка вздрагивали.

Он был еще очень молод, одет как простолюдин, роста среднего, худощавый, с волосами, обстриженными в кружок, с тонкими, как бы сухими чертами лица.

Неожиданно оттолкнутый им человек первый бросился было за ним в комнату и успел схватить его за плечо: это был конвойный; но Николай дернул руку и вырвался от него еще раз.

В дверях затолпилось несколько любопытных. Иные из них порывались войти. Все описанное произошло почти в одно мгновение.

— Прочь, рано еще! Подожди, пока позовут!.. Зачем его раньше привели? — бормотал в крайней досаде, как бы сбитый с толку Порфирий Петрович. Но Николай вдруг стал на колени.

— Чего ты? — крикнул Порфирий в изумлении.

— Виноват! Мой грех! Я убийца! — вдруг произнес Николай, как будто несколько задыхаясь, но довольно громким голосом.

Секунд десять продолжалось молчание, точно столбняк нашел на всех; даже конвойный отшатнулся и уже не подходил к Николаю, а отретировался машинально к дверям и стал неподвижно.

— Что такое? — вскричал Порфирий Петрович, выходя из мгновенного оцепенения.

— Я... убийца... — повторил Николай, помолчав капельку.

— Как... ты... Как... Кого ты убил?

Порфирий Петрович, видимо, потерялся.

Николай опять помолчал капельку.

— Алену Ивановну и сестрицу ихнюю, Лизавету Ивановну, я... убил... топором. Омрачение нашло... — прибавил он вдруг и опять замолчал. Он все стоял на коленях.

Порфирий Петрович несколько мгновений стоял, как бы вдумываясь, но вдруг опять вспорхнул и замахал руками на непрошенных свидетелей. Те мигом скрылись, и дверь притворилась. Затем он поглядел на стоявшего в углу Раскольникова, дико смотревшего на Николая, и направился было к нему, но вдруг остановился, посмотрел на него, перевел тотчас же свой взгляд на Николая, потом опять на Раскольникова, потом опять на Николая и вдруг, как бы увлеченный, опять набросился на Николая.

— Ты мне что с своим омрачением-то вперед забегаешь? — крикнул он на него почти со злобой. — Я тебя еще не спрашивал: находило или нет на тебя омрачение... говори: ты убил?

— Я убийца... показание сдаю... — произнес Николай.

— Э-эх! Чем ты убил?

— Топором. Припас.

— Эх, спешит! Один?

Николай не понял вопроса.

— Один убил?

— Один. А Митька неповинен и всему тому непричастен.

— Да не спеши с Митькой-то! Э-эх!

— Как же ты, ну, как же ты с лестницы-то тогда сбежал? Ведь дворники вас обоих встретили?

— Это я для отводу... тогда... бежал с Митькой, — как бы заторопясь и заранее

приготовившись, ответил Николай.

— Ну, так и есть! — злобно вскрикнул Порфирий, — не свои слова говорит! — пробормотал он как бы про себя и вдруг опять увидел Раскольникова.

Он, видимо, до того увлекся с Николаем, что на одно мгновение даже забыл о Раскольникове. Теперь он вдруг опомнился, даже смутился...

— Родион Романович, батюшка! Извините-с, — кинулся он к нему, — этак нельзя-с; пожалуйста-с... вам тут нечего... я и сам... видите, какие сюрпризы!.. пожалуйста-с!..

И, взяв его за руку, он показал ему на дверь.

— Вы, кажется, этого не ожидали? — проговорил Раскольников, конечно, ничего еще не понимавший ясно, но уже успевший сильно ободриться.

— Да и вы, батюшка, не ожидали. Ишь ручка-то как дрожит! Хе-хе!

— Да и вы дрожите, Порфирий Петрович.

— И я дрожу-с; не ожидал-с!..

Они уже стояли в дверях. Порфирий нетерпеливо ждал, чтобы прошел Раскольников.

— А сюрпризик-то так и не покажете? — проговорил вдруг Раскольников.

— Говорит, а у самого еще зубки во рту один о другой колотятся, хе-хе! Иронический вы человек! Ну-с, до свидания-с.

— По-моему, так прощайте!

— Как бог приведет-с, как бог приведет-с! — пробормотал Порфирий с искривившеюся как-то улыбкой...

Раскольников прошел прямо домой. Он до того был сбит и спутан, что, уже придя домой и бросившись на диван, с четверть часа сидел, только отдыхая и стараясь хоть сколько-нибудь собраться с мыслями. Про Николая он и рассуждать не брался: он чувствовал, что поражен; что в признании Николая есть что-то необъяснимое, удивительное, чего теперь ему не понять ни за что. Но признание Николая был факт действительный. Последствия этого факта ему тотчас же стали ясны: ложь не могла не обнаружиться, и тогда примутся опять за него. Но, по крайней мере, до того времени он свободен и должен непременно что-нибудь для себя сделать, потому что опасность неминуемая.

Но, однако ж, в какой степени? Положение начало выясняться. Припоминая, вчерне, в общей связи, всю свою давешнюю сцену с Порфирием, он не мог еще раз не содрогнуться от ужаса. Конечно, он не знал еще всех целей Порфирия, не мог постигнуть всех давешних расчетов его. Но часть игры была обнаружена, и уж, конечно, никто лучше его не мог понять, как страшен был для него этот "ход" в игре Порфирия. Еще немного, и он мог выдать себя совершенно, уже фактически. Зная болезненность его характера и с первого взгляда верно схватив и проникнув его, Порфирий действовал хотя слишком решительно, но почти наверное. Спору нет, Раскольников успел уже себя и давеча слишком скомпрометировать, но до фактов все-таки еще не дошло; все еще это только относительно. Но так ли, однако же, так ли он это все теперь понимает? Не ошибается ли он? К какому именно результату клонил

сегодня Порфирий? Действительно ли было у него что-нибудь приготовлено сегодня? Да и что именно? Действительно ли он ждал чего или нет? Как именно расстались бы они сегодня, если бы не подошла неожиданная катастрофа через Николая? ...

Он сидел на диване, свесив вниз голову, облокотясь на колени и закрыв руками лицо. Нервная дрожь продолжалась еще во всем его теле. Наконец он встал, взял фуражку, подумал и направился к дверям.

Ему как-то предчувствовалось, что, по крайней мере на сегодняшний день, он почти наверное может считать себя безопасным. Вдруг в сердце своем он ощутил почти радость: ему захотелось поскорее к Катерине Ивановне. На похороны он, разумеется, опоздал, но на поминки поспеет, и там, сейчас, он увидит Соню.

Он остановился, подумал, и болезненная улыбка выдавилась на губах его.

— Сегодня! Сегодня! — повторял он про себя, — да, сегодня же! Так должно...

"Теперь мы еще поборемся", — с злобною усмешкой проговорил он, сходя в лестницы. Злоба же относилась к нему самому: он с презрением и стыдом вспоминал о своем "малодушии".

Частина п'ята

Переказ:

Уранці після остаточного розриву з Дунею Лужин аналізує свої помилки у стосунках з дівчиною та і її матір'ю. Його жовчність і бажання похизуватися розповсюджується і на Андрія Семеновича Лебезятникова, його приятеля, з яким вони проживають в одній квартирі.

В образі Лебезятникова Достоевський зображує карикатуру на демократа, що проповідує комуні, вільну любов і стосунки між статтями.

Петро Петрович просить Лебезятникова запросити до нього Сонечку, в присутності Андрія Семеновича спілкується з нею і дає їй як допомогу сім'ї 10 карбованців.

На помини Мармеладова майже ніхто не прийшов. Соня, повернувшись від Лужина, сідає поряд з Раскольниковим, що теж запізнився після допиту в слідчого.

Несподівано до кімнати Мармеладових входить Лужин.

Цитата:

— Извините, что я, может быть, прерываю, но дело довольно важное-с, — заметил Петр Петрович как-то вообще не обращаясь ни к кому в особенности, — я даже и рад при публике. Амалия Ивановна, прошу вас покорнейше, в качестве хозяйки квартиры, обратит внимание на мой последующий разговор с Софьей Ивановной. Софья Ивановна, — продолжал он, обращаясь прямо к чрезвычайно удивленной и уже заранее испуганной Соне, — со стола моего, в комнате друга моего, Андрея Семеновича Лебезятникова, тотчас же вслед за посещением вашим, исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет сторублевого достоинства. Если каким бы то ни было образом вы знаете и укажете нам, где он теперь находится, то, уверяю вас честным словом, и беру всех в свидетели, что дело тем только и кончится. В противном же случае принужден буду обратиться к мерам весьма серьезным, тогда... пеняйте уже на себя-с!

Совершенное молчание воцарилось в комнате. Даже плакавшие дети затихли. Соня стояла мертво-бледная, смотрела на Лужина и ничего не могла отвечать. Она как будто еще и не понимала. Прошло несколько секунд.

— Ну-с, так как же-с? — спросил Лужин, пристально смотря на нее.

— Я не знаю... Я ничего не знаю... — слабым голосом проговорила наконец Соня.

— Нет? Не знаете? — переспросил Лужин и еще несколько секунд помолчал. — Подумайте, мадемуазель, — начал он строго, но все еще как будто увещевая, — обсудите, я согласен вам дать еще время на размышление. Извольте видеть-с: если б я не был так уверен, то уж, разумеется, при моей опытности, не рискнул бы так прямо вас обвинить; ибо за подобное, прямое и гласное, но ложное или даже только ошибочное обвинение я, в некотором смысле, сам отвечаю. Я это знаю-с

— Я ничего не брала у вас, — прошептала в ужасе Соня, — вы дали мне десять рублей, вот возьмите их. — Соня вынула из кармана платок, отыскала узелок, развязала его, вынула десятирублевую бумажку и протянула руку Лужину.

— А в остальных ста рублях вы так и не признаетесь? — укоризненно и настойчиво произнес он, не принимая билета.

Соня осмотрелась кругом. Все глядели на нее с такими ужасными, строгими, насмешливыми, ненавистными лицами. Она взглянула на Раскольников... тот стоял у стены, сложив накрест руки, и огненным взглядом смотрел на нее.

— О господи! — вырвалось у Сони. (

— Ка-а-к! — вскрикнула вдруг, опомнившись, Катерина Ивановна и — точно сорвалась — бросилась к Лужину, — как! Вы ее в покраже обвиняете? Это Соню-то? Ах, подлецы, подлецы! — И бросившись к Соне, она, как в тисках, обняла ее иссохшими руками.

— Соня! Как ты смела брать от него десять рублей! О, глупая! Подай сюда! Подай сейчас эти десять рублей — вот!

И, выхватив у Сони бумажку, Катерина Ивановна скомкала ее в руках и бросила наотмашь прямо в лицо Лужина. Катышек попал в глаз и отскочил на пол. Амалия Ивановна бросилась поднимать деньги. Петр Петрович рассердился.

— Удержите эту сумасшедшую! — закричал он.

В дверях, в эту минуту, рядом с Лебезятниковым показалось и еще несколько лиц, между которыми выглядывали и обе приезжие дамы.

— Как! Сумасшедшую? Это я-то сумасшедшая? Дуррак! — взвизгнула Катерина Ивановна. — Сам ты дурак, крючок судейский, низкий человек! Соня, Соня возьмет у него деньги! Это Соня-то воровка! Да она еще тебе даст, дурак! — И Катерина Ивановна истерически захохотала. — Видали ль вы дурака? — бросалась она во все стороны, показывая всем на Лужина. — Как! И ты тоже? — увидала она хозяйку, — и ты туда же, колбасница, подтверждаешь, что она "вороваль", подлая ты прусская куриная нога в кринолине! Ах вы! Ах вы! Да она и из комнаты-то не выходила и, как пришла от тебя, подлеца, тут же рядом подле Родиона Романовича и села!.. Обыщите ее! Коль она никуда не выходила, стало быть, деньги должны быть при ней! Ищи же,



ищи, ищи! Только если ты не найдешь, то уж извини, голубчик, ответишь! К государю, к государю, к самому царю побегу, милосердному, в ноги брошусь, сейчас же, сегодня же! я — сирота! Меня пустят! Ты думаешь, не пустят? Врешь, дойду! Дойду-у! Это ты на то, что она кроткая, рассчитывал? Ты на это понадеялся? Да я, брат, зато бойкая! Оборвешься! Ищи же! Ищи, ищи, ну, ищи!! ...

— Соня, вывороти им карманы! Вот, вот! Смотри, изверг, вот пустой, здесь платок лежал, карман пустой, видишь! Вот другой карман, вот, вот! Видишь, видишь!

И Катерина Ивановна не то что вывернула, а так и выхватила оба кармана, один за другим наружу. Но из второго, правого, кармана вдруг выскочила бумажка и, описав в воздухе параболу, упала к ногам Лужина. Это все видели; многие вскрикнули. Петр Петрович нагнулся, взял бумажку двумя пальцами с пола, поднял всем на вид и развернул. Это был сторублевый кредитный билет, сложенный в восьмую долю. Петр Петрович обвел кругом свою руку, показывая всем билет.

— Воровка! Вон с квартир! Полис, полис! — завопила Амалия Ивановна, — их надо Сибирь прогнать! Вон!

Со всех сторон полетели восклицания. Раскольников молчал, не спуская глаз с Сони, изредка, но быстро переводя их на Лужина. Соня стояла на том же месте, как без памяти: она почти даже не была и удивлена. Вдруг краска залила ей все лицо; она вскрикнула и закрылась руками.

— Нет, это не я! Я не брала! Я не знаю! — закричала она, разрывающим сердце воплем, и бросилась к Катерине Ивановне. Та схватила ее и крепко прижала к себе, как будто грудью желая защитить ее ото всех.

— Соня! Соня! Я не верю! Видишь, я не верю! — кричала (несмотря на всю очевидность) Катерина Ивановна, сотрясая ее в руках своих, как ребенка, целуя ее бессчетно, ловя ее руки и, так и впиваясь, целуя их. — Чтоб ты взяла! Да что это за глупые люди! О господи! Глупые вы, глупые, — кричала она, обращаясь ко всем, — да вы еще не знаете, не знаете, какое это сердце, какая это девушка! Она возьмет, она! Да она свое последнее платье скинет, продаст, босая пойдет, а вам отдаст, коль вам надо будет, вот она какая! Она и желтый-то билет получила, потому что мои же дети с голоду пропадали, себя за нас продала!

— Как это низко! — раздался вдруг громкий голос в дверях.

Петр Петрович быстро оглянулся,

— Какая низость! — повторил Лебезятников, пристально смотря ему в глаза.

Петр Петрович даже как будто вздрогнул. Это заметили все. (Потом об этом вспоминали.) Лебезятников шагнул в комнату.

— И вы осмелились меня в свидетели поставить? — сказал он, подходя к Петру Петровичу.

— Что это значит, Андрей Семенович? Про что такое вы говорите? — пробормотал Лужин.

— То значит, что вы... клеветник, вот что значат мои слова! — горячо проговорил Лебезятников, строго смотря на него своими подслеповатыми глазками. Он был

ужасно рассержен. Раскольников так и впился в него глазами, как бы подхватывая и взвешивая каждое слово. Опять снова воцарилось молчание. Петр Петрович почти даже потерялся, особенно в первое мгновение.

— Если это вы мне... — начал он, заикаясь, — да что с вами? В уме ли вы?

— Я-то в уме-с, а вот вы так... мошенник! Ах, как это низко! Я все слушал, я нарочно все ждал, чтобы все понять, потому что, признаюсь, даже до сих пор оно не совсем логично... Но для чего вы все это сделали — не понимаю.

— Да что я сделал такое! Перестанете ли вы говорить вашими вздорными загадками! Или вы, может, выпивши?

— Это вы, низкий человек, может быть, пьете, а не я! Я и водки никогда не пью, потому что это не в моих убеждениях! Вообразите, он, он сам, своими собственными руками отдал этот сторублевый билет Софье Семеновне, — я видел, я свидетель, я присягу приму! Он, он! — повторял Лебезятников, обращаясь ко всем и каждому....

— Я видел, видел! — кричал и подтверждал Лебезятников, — и хоть это против моих убеждений, но я готов сей же час принять в суде какую угодно присягу, потому что я видел, как вы ей тихонько подсунули! Только я-то, дурак, подумал, что вы из благодеяния подсунули! В дверях, прощаясь с нею, когда она повернулась и когда вы ей жали одной рукой руку, другою, левой, вы и положили ей тихонько в карман бумажку. Я видел! Видел!

Лужин побледнел...

Лебезятников чуть не задыхался. Со всех сторон стали раздаваться разнообразные восклицания, всего больше означавшие удивление; но слышались восклицания, принимавшие и грозный тон. Все затеснилось к Петру Петровичу. Катерина Ивановна кинулась к Лебезятникову.

— Андрей Семенович! Я в вас ошиблась! Защитите ее! Один вы за нее! Она сирота, вас бог послал! Андрей Семенович, голубчик, батюшка!

И Катерина Ивановна, почти не помня, что делает, бросилась перед ним на колени.

— Дичь! — завопил взбешенный до ярости Лужин, — дичь вы все мелете, сударь. "Забыл, вспомнил, забыл" — что такое! Стало быть, я нарочно ей подложил? Для чего? С какою целью? Что общего у меня с этой...

— Для чего? Вот этого-то я и сам не понимаю, а что я рассказываю истинный факт, то это верно! Я до того не ошибаюсь, мерзкий, преступный вы человек, что именно помню, как по этому поводу мне тотчас же тогда в голову вопрос пришел, именно в то время, как я вас благодарил и руку вам жал. Для чего же именно вы положили ей украдкой в карман? То есть почему именно украдкой? Неужели потому только, что хотели от меня скрыть, зная, что я противных убеждений и отрицаю частную благотворительность, ничего не исцеляющую радикально? Ну и решил, что вам действительно передо мной совестно такие куши давать, и, кроме того, может быть, подумал я, он хочет ей сюрприз сделать, удивить ее, когда она найдет у себя в кармане целых сто рублей....

Когда Андрей Семенович кончил свои многословные рассуждения, с таким

логическим выводом в заключении речи, то ужасно устал, и даже пот катился с его лица. Увы, он и по-русски-то не умел объясняться порядочно (не зная, впрочем, никакого другого языка), так что он весь, как-то разом, истощился, даже как будто похудел после своего адвокатского подвига. Тем не менее речь его произвела чрезвычайный эффект. Он говорил с таким азартом, с таким убеждением, что ему, видимо, все поверили. Петр Петрович почувствовал, что дело плохо.

— Какое мне дело, что вам в голову пришли там какие-то глупые Вопросы, — вскричал он. — Это не доказательство-с! Вы могли все это сбредить во сне, вот и все-с! А я вам говорю, что вы лжете, сударь! Лжете и клевете из какого-либо зла на меня, и именно по насердке за то, что я не соглашался на ваши вольнодумные и безбожные социальные предложения, вот что-с!

Но этот выверт не принес пользы Петру Петровичу. Напротив, послышался со всех сторон ропот.

— А, ты вот куда заехал! — крикнул Лебезятников. — Врешь! Зови полицию, а я присягу приму! Одного только понять не могу: для чего он рискнул на такой низкий поступок! О жалкий, подлый человек!

— Я могу объяснить, для чего он рискнул на такой поступок, и, если надо, сам присягу приму! — твердым голосом произнес, наконец, Раскольников и выступил вперед.

Он был по-видимому тверд и спокоен. Всем как-то ясно стало, при одном только взгляде на него, что он действительно знает, в чем дело, и что дошло до развязки.

— Теперь я совершенно все себе уяснил, — продолжал Раскольников, обращаясь прямо к Лебезятникову. — С самого начала истории я уже стал подозревать, что тут какой-то мерзкий подвох; я стал подозревать вследствие некоторых особых обстоятельств, только мне одному известных, которые я сейчас и объясню всем: в них все дело! Вы же, Андрей Семенович, вашим драгоценным показанием окончательно уяснили мне все. Прошу всех, всех прислушать: этот господин (он указал на Лужина) сватался недавно к одной девице, и именно, к моей сестре, Авдотье Романовне Раскольниковой. Но, приехав в Петербург, он, третьего дня, при первом нашем свидании, со мной поссорился, и я выгнал его от себя, чему есть два свидетеля. Этот человек очень зол... Теперь прошу особенного внимания: представьте себе, что если б ему удалось теперь доказать, что Софья Семеновна — воровка, то, во-первых, он доказал бы моей сестре и матери, что был почти прав в своих подозрениях; что он справедливо рассердился за то, что я поставил на одну доску мою сестру и Софью Семеновну; что, нападая на меня, он защищал, стало быть, и предохранял честь моей сестры, а своей невесты. Одним словом, через все это он даже мог вновь поссорить меня с родными и, уж конечно, надеялся опять войти у них в милость. Не говорю уже о том, что он мстил лично мне, потому что имеет основание предполагать, что честь и счастье Софьи Семеновны очень для меня дороги. Вот весь его расчет! Вот как я понимаю это дело! Вот вся причина, и другой быть не может! ...

Его резкий голос, его убежденный тон и строгое лицо произвели на всех

чрезвычайный эффект.

— Так, так, это так! — в восторге подтверждал Лебезятников. — Это должно быть так, потому что он именно спрашивал меня, как только вошла к нам в комнату Софья Семеновна, "тут ли вы? Не видал ли я вас в числе гостей Катерины Ивановны?" Он отозвал меня для этого к окну и там потихоньку спросил. Стало быть, ему непременно надо было, чтобы тут были вы! Это так, это все так!

Лужин молчал и презрительно улыбался. Впрочем, он был очень бледен. Казалось, что он обдумывал, как бы ему вывернуться. Может быть, он бы с удовольствием бросил все и ушел, но в настоящую минуту это было почти невозможно; это значило прямо сознаться в справедливости взводимых на него обвинений и в том, что он действительно оклеветал Софью Семеновну....

— Позвольте, господа, позвольте; не теснитесь, дайте пройти! — говорил он, пробираясь сквозь толпу, — и сделайте одолжение, не угрожайте; уверяю вас, что ничего не будет, ничего не сделаете, не робкого десятка-с, а напротив, вы же, господа, ответите, что насилием прикрыли уголовное дело. Воровка более нежели изобличена, и я буду преследовать-с. В суде не так слепы и ... не пьяны-с, и не поверят двум отъявленным безбожникам, возмутителям и вольнодумцам, обвиняющим меня, из личной мести, в чем сами они, по глупости своей, сознаются... Да-с, позвольте-с!

— Чтобы тотчас же духу вашего не было в моей комнате; извольте съезжать, и все между нами кончено! И как подумаю, что я же из кожи выбивался, ему излагал... целые две недели!..

— Да ведь я вам и сам, Андрей Семенович, давеча сказал, что съезжаю, когда вы еще меня удерживали; теперь же прибавлю только, что вы дурак-с. Желаю вам вылечить ваш ум и ваши подслепые глаза. Позвольте же, господа-с!

Он протеснился; но провиантскому не хотелось так легко его выпустить, с одними только ругательствами: он схватил со стола стакан, размахнулся и пустил его в Петра Петровича; но стакан полетел прямо в Амалию Ивановну. Она взвизгнула, а провиантский, потеряв от размаху равновесие, тяжело повалился под стол... С визгом, как бешеная, кинулась она к Катерине Ивановне, считая ее во всем виноватою:

— Долой с квартир! Сейчас! Марш! — И с этими словами начала хватать все, что ни попалося ей под руку из вещей Катерины Ивановны, и скидывать на пол. Почти и без того убитая, чуть не в обмороке, задыхавшаяся, бледная, Катерина Ивановна вскочила с постели (на которую упала было в изнеможении) и бросилась на Амалию Ивановну. Но борьба была слишком неравна; та отпихнула ее, как перышко.

— Как! Мало того, что безбожно оклеветали, — эта тварь на меня же! Как! В день похорон мужа гонят с квартиры, после моего хлеба-соли, на улицу, с сиротами! Да куда я пойду! — вопила, рыдая и задыхаясь, бедная женщина. — Господи! — закричала вдруг она, засверкав глазами, — неужели ж нет справедливости! Кого ж тебе защищать, коль не нас, сирот? А вот, увидим! Есть на свете суд и правда, есть, я сыщу! Сейчас, подожди, безбожная тварь! Полечка, оставайся с детьми, я ворочусь. Ждите меня, хоть на улице! Увидим, есть ли на свете правда?

"А теперь пора и мне! — подумал Раскольников. — Ну-тка, Софья Семеновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить!"

И он отправился на квартиру Сони.

IV

Цитата:

Раскольников был деятельным и бодрым адвокатом Сони против Лужина, несмотря на то что сам носил столько собственного ужаса и страдания в душе. Но, выстрадав столько утром, он точно рад был случаю переменить свои впечатления, становившиеся невыносимыми, не говоря уже о том, насколько личного и сердечного заключалось в стремлении его заступиться за Соню. Кроме того, у него было в виду и страшно тревожило его, особенно минутами, предстоящее свидание с Соней: он должен был объявить ей, кто убил Лизавету, и предчувствовал себе страшное мучение, и точно отмахивался от него руками...

Переказ:

У розмові з Сонєю Раскольников ставить питання: чи могла б Соня зробити вибір, кому померти — Лужину чи Катерині Іванівні? Соня відмовляється навіть думати про це, бо вважає вибір Божим промислом.

Цитата:

Опять он закрыл руками лицо и склонил вниз голову. Вдруг он побледнел, встал со стула, посмотрел на Соню и, ничего не выговорив, пересел на ее постель.

Эта минута была ужасно похожа, в его ощущении, на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из петли топор, и почувствовал, что уже "ни мгновения нельзя было терять более".

— Что с вами? — спросила Соня, ужасно оробевшая....

— Ничего, Соня. Не пугайся... Вздор! Право, если рассудить, — вздор, — бормотал он с видом себя не помнящего человека в бреде. — Зачем только тебя-то я пришел мучить? — прибавил он вдруг, смотря на нее. — Право. Зачем? Я все задаю себе этот вопрос, Соня...

Он, может быть, и задавал себе этот вопрос четверть часа назад, но теперь проговорил в полном бессилии, едва себя сознавая и ощущая непрерывную дрожь во всем своем теле.

— Ох, как вы мучаетесь! — с страданием произнесла она, вглядываясь в него.

— Все вздор!.. Вот что, Соня (он вдруг отчего-то улыбнулся, как-то бледно и бессильно, секунды на две), — помнишь ты, что я вчера хотел тебе сказать?

Соня беспокойно ждала.

— Я сказал, уходя, что, может быть, прощаюсь с тобой навсегда, но что если приду сегодня, то скажу тебе... кто убил Лизавету.

Она вдруг задрожала всем телом.

— Ну так вот, я и пришел сказать. Стало быть, я с ним приятель большой... коли знаю, — продолжал Раскольников, неотступно продолжая смотреть в ее лицо, точно уже был не в силах отвести глаз, — он Лизавету эту... убить не хотел... Он ее... убил

нечаянно... Он старуху убить хотел... когда она была одна... и пришел... А тут вошла Лизавета... Он тут... и ее убил.

Прошла еще ужасная минута. Оба все глядели друг на друга.

— Так не можешь угадать-то? — спросил он вдруг, с тем ощущением, как бы бросался вниз с колокольни.

— Н-нет, — чуть слышно прошептала Соня.

— Погляди-ка хорошенько.

И как только он сказал это, опять одно прежнее, знакомое ощущение оледенило вдруг его душу: он смотрел на нее и вдруг, в ее лице, как бы увидел лицо Лизаветы...

— Господи! — вырвался ужасный вопль из груди ее. Бессильно упала она на постель, лицом в подушки. Но через мгновение быстро приподнялась, быстро придвинулась к нему, схватила его за обе руки и, крепко сжимая их, как в тисках, тонкими своими пальцами, стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотреть в его лицо. Этим последним, отчаянным взглядом она хотела высмотреть и уловить хоть какую-нибудь последнюю себе надежду. Но надежды не было; сомнения не оставалось никакого; все было так!

— Что вы, что вы это над собой сделали! — отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.

Раскольников отшатнулся и с грустною улыбкой посмотрел на нее:

— Странная какая ты, Соня, — обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про это. Себя ты не помнишь...

Соня стояла как бы ошеломленная, но вдруг вскричала:

— Ты был голоден! ты... чтобы матери помочь? Да?

— Нет, Соня, нет, — бормотал он, отвернувшись и свесив голову, — не был я так голоден... я действительно хотел помочь матери, но... и это не совсем верно... не мучь меня, Соня!

— Соня, у меня сердце злое, ты это заметь: этим можно многое объяснить. Я потому и пришел, что зол. Есть такие, которые не пришли бы. А я трус и... подлец! Но... пусть! все это не то... Говорить теперь надо, а я начать не умею....

Он остановился и задумался.

— Э-эх, люди мы разные! — вскричал он опять, — не пара. И зачем, зачем я пришел! Никогда не прощу себе этого!

— Нет, нет, это хорошо, что пришел! — восклицала Соня, — это лучше, чтоб я знала! Гораздо лучше!

Он с болью посмотрел на нее....

— Ох, это не то, не то, — в тоске восклицала Соня, — и разве можно так... нет, это не так, не так!

— Сама видишь, что не так!.. А я ведь искренно рассказал, правду!

— Да какая ж это правда! О господи!

— Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную.

— Это человек-то вошь!

— Да ведь и я знаю, что не вошь, — ответил он, странно смотря на нее. — А впрочем, я вру, Соня, — прибавил он, — давно уже вру... Это все не то; ты справедливо говоришь. Совсем, совсем, совсем тут другие причины!.. Я давно ни с кем не говорил, Соня... Голова у меня теперь очень болит.

Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка бродила на его губах. Сквозь возбужденное состояние духа уже проглядывало страшное бессилие. Соня поняла, как он мучается. У ней тоже голова начинала кружиться. И странно он так говорил: как будто и понятно что-то, но... "но как же! Как же! О господи!" И она ломала руки в отчаянии.

— Нет, Соня, это не то! — начал Он опять, вдруг поднимая голову, как будто внезапный поворот мыслей поразил и вновь возбудил его, — это не то! А лучше... предположи (да! этак действительно лучше!), предположи, что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну... и, пожалуй, еще склонен к сумасшествию...

— Я догадался тогда, Соня, — продолжал он восторженно, — что власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь! У меня тогда одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал! Никто! Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть к черту! Я... я захотел осмелиться и убил... я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина! ...

Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею...

— Убивать? Убивать-то право имеете? — всплеснула руками Соня.

— Э-эх, Соня! — вскрикнул он раздражительно, хотел было что-то ей возразить, но презрительно замолчал. — Не прерывай меня, Соня! Я хотел тебе только одно доказать: что черт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все! Насмеялся он надо мной, вот я к тебе и пришел теперь! Принимай гостя! Если б я не вошь был, то пришел ли бы я к тебе? Слушай, когда я тогда к старухе ходил, я только попробовать сходил... Так и знай!

— И убили! Убили!

— Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел! Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел... Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я... Довольно, довольно, Соня, довольно! Оставь меня, — вскричал он вдруг в судорожной тоске, — оставь меня!

Он облокотился на колена и, как в клещах, стиснул себе ладонями голову.

— Экое страдание! — вырвался мучительный вопль у Сони.

— Ну, что теперь делать, говори! — спросил он, вдруг подняв голову и с безобразно

искаженным от отчаяния лицом смотря на нее.

— Что делать! — воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг засверкали. — Встань! (Она схватила его за плечо; он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении.). Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: "Я убил!" Тогда бог опять тебе жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь? — спрашивала она его, вся дрожа, точно в припадке, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огненным взглядом.

Он изумился и был даже поражен ее внезапным восторгом.

— Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ль, на себя надо? — спросил он мрачно.

— Страдание принять и искупить себя им, вот что надо.

— Нет! Не пойду я к ним, Соня.

— А жить-то, жить-то как будешь? Жить-то с чем будешь? — восклицала Соня. — Разве это теперь возможно? Ну как ты с матерью будешь говорить? (О, с ними-то, с ними-то что теперь будет!) Да что я! Ведь ты уж бросил мать и сестру. Вот ведь уж бросил же, бросил. О господи! — вскрикнула она, — ведь он уже это все знает сам! Ну как же, как же без человека-то прожить! Что с тобой теперь будет!

— Не будь ребенком, Соня, — тихо проговорил он. — В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Все это один только призрак... Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня!.. Не пойду. И что я скажу: что убил, а денег взять не посмел, под камень спрятал? — прибавил он с едкою усмешкой. — Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут: дурак, что не взял. Трус и дурак! Ничего, ничего не поймут они, Соня, и недостойны понять. Зачем я пойду? Не пойду. Не будь ребенком, Соня...

— Замучаешься, замучаешься, — повторяла она, в отчаянной мольбе простирая к нему руки.

— Я, может, на себя еще наклепал, — мрачно заметил он, как бы в задумчивости, — может, я еще человек, а не вошь и поторопился себя осудить... Я еще поборюсь.

Надменная усмешка выдавливалась на губах его.

— Этакую-то муку нести! Да ведь целую жизнь, целую жизнь!..

— Привыкну... — проговорил он угрюмо и вдумчиво. — Слушай, — начал он через минуту, — полно плакать, пора о деле: я пришел тебе сказать, что меня теперь ищут, ловят...

— Ах, — вскрикнула Соня испуганно.

— Ну что же ты вскрикнула! Сама желаешь, чтоб я в каторгу пошел, а теперь испугалась? Только вот что: я им не дамся. Я еще с ними поборюсь, и ничего не сделают. Нет у них настоящих улик. Будешь ко мне в острог ходить, когда я буду сидеть?

— О, буду! Буду!



Оба сидели рядом, грустные и убитые, как бы после бури выброшенные на пустой берег одни. Он смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение! Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход; он думал сложить хоть часть своих мук, и вдруг, теперь, когда все сердце ее обратилось к нему, он вдруг почувствовал и сознал, что он стал беспримерно несчастнее, чем был прежде.

— Соня, — сказал он, — уж лучше не ходи ко мне, когда я буду в остроге сидеть.

Соня не ответила, она плакала. Прошло несколько минут.

— Есть на тебе крест? — вдруг неожиданно спросила она, точно вдруг вспомнила.

Он сначала не понял вопроса.

— Нет, ведь нет? На, возьми вот этот, кипарисный. У меня другой остался, медный, Лизаветин. Мы с Лизаветой крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе. Возьми... ведь мой! Ведь мой! — упрашивала она. — Вместе ведь страдать пойдем, вместе и крест понесем!..

— Дай! — сказал Раскольников. Ему не хотелось ее огорчить. Но он тотчас же отдернул протянутую за крестом руку.

— Не теперь, Соня. Лучше потом, — прибавил он, чтоб ее успокоить,

— Да, да, лучше, лучше, — подхватила она с увлечением, — как пойдешь на страдание, тогда и наденешь. Придешь ко мне, я надену на тебя, помолимся и пойдем.

В это мгновение кто-то три раза стукнул в дверь.

— Софья Семеновна, можно к вам? — слышался чей-то очень знакомый вежливый голос.

Соня бросилась к дверям в испуге. Белокурая физиономия господина Лебезятникова заглянула в комнату.

V

Переказ:

Удома Раскольников зустрічається з Дунею, яка не хоче вірити у те, що її брат — злочинець. Родіон бродить по вулиці, де зустрічає Лебезятникова. Той розповідає про нову трагедію сім'ї Мармеладових: Катерина Іванівна, яку квартирна хазяйка вигнала разом з маленькими дітьми, збожеволіла від горя, ходить по вулицях і просить милостиню. Виснажена, Катерина Іванівна падає, її відносять до Соні, де вона і вмирає.

Свидригайлов бере похорон на себе, влаштовує дітей у сирітський притулок, забезпечує їх грошима.

Тим часом Порфирій Петрович навідується до Раскольнікова, розповідає, що Микола, набожна людина, вирішив постраждати за іншого; слідчий пропонує Родіонові з'явитися, поки не пізно, з покаанням.

Раскольников зустрічає в трактирі Свидригайлова. Аркадій Іванович ділиться з Родіоном своїми цинічними поглядами на любов і шлюб.

Свидригайлов розкриває таємницю про те, що чув розмову Родіона з Сонею, і пропонує Раскольникову поїхати на острови. На мосту Свидригайлов зустрічає Дуню і

просить її піти з ним. Вони заходять до Соні, але її нема вдома. Свидригайлов розповідає Дуні, що її брат — вбивця. Аркадій Іванович освідчується Дуні у коханні й каже, що готовий допомогти її братові, тільки б дівчина відповіла на його пристрась.

Цитата:

Свидригайлов встал и опомнился. Злобная и насмешливая улыбка медленно выдавливалась на дрожавших еще губах его.

— Там никого нет дома, — проговорил он тихо и с расстановками, — хозяйка ушла, и напрасный труд так кричать: только себя волнуете понапрасну.

— Где ключ? Отвори сейчас дверь, сейчас, низкий человек!

— Я ключ потерял и не могу его отыскать.

— А! Так это насилие! — вскричала Дуня, побледнела как смерть и бросилась в угол, где поскорей заслонила стол, случившимся под рукой. Она не кричала; но она впиалась взглядом в своего мучителя и зорко следила за каждым его движением. Свидригайлов тоже не двигался с места и стоял против нее на другом конце комнаты. Он даже овладел собою, по крайней мере снаружи. Но лицо его было бледно по-прежнему. Насмешливая улыбка не покидала его.

— Вы сказали сейчас "насилие", Авдотья Романовна. Если насилие, то сами можете рассудить, что я принял меры. Софьи Семеновны дома нет; до Капернауковых очень далеко, пять запертых комнат. Наконец, я по крайней мере вдвое сильнее вас, и, кроме того, мне бояться нечего, потому что вам и потом нельзя жаловаться: ведь не захотите же вы предать в самом деле вашего брата? Да и не поверит вам никто: ну с какой стати девушка пошла одна к одинокому человеку на квартиру? Так что, если даже и братом пожертвуете, то и тут ничего не докажете: насилие очень трудно доказать, Авдотья Романовна.

— Подлец! — прошептала Дуня в негодовании.

— Как хотите, но заметьте, я говорил еще только в виде предположения. По моему же личному убеждению, вы совершенно правы: насилие — мерзость. Я говорил только к тому, что на совести вашей ровно ничего не останется, если бы даже... если бы даже вы и захотели спасти вашего брата добровольно, так, как я вам предлагаю. Вы просто, значит, подчинились обстоятельствам, ну силе, наконец, если уж без этого слова нельзя. Подумайте об этом; судьба вашего брата и вашей матери в ваших руках. Я же буду ваш раб... всю жизнь... я вот здесь буду ждать...

Свидригайлов сел на диван, шагах в восьми от Дуни. Для нее уже не было ни малейшего сомнения в его непоколебимой решимости. К тому же она его знала...

Вдруг она вынула из кармана револьвер, взвела курок и опустила руку с револьвером на стол. Свидригайлов вскочил с места.

— Ага! Так вот как! — вскричал он в удивлении, но злобно усмехаясь, — ну, это совершенно изменяет ход дела! Вы мне чрезвычайно облегчаете дело сами, Авдотья Романовна! Да где это вы револьвер достали? Уж не господин ли Разумихин? Ба! Да револьвер-то мой! Старый знакомый! А я-то его тогда как искал!.. Наши деревенские уроки стрельбы, которые я имел честь вам давать, не пропали-таки даром.

— Не твой револьвер, а Марфы Петровны, которую ты убил, злодей! У тебя ничего не было своего в ее доме. Я взяла его, как стала подозревать, на что ты способен. Смей шагнуть хоть один шаг, и клянусь, я убью тебя!

Дуня была в исступлении. Револьвер она держала наготове.

— Ну, а брат? Из любопытства спрашиваю, — спросил Свидригайлов, все еще стоя на месте.

— Донеси, если хочешь! Ни с места! Не сходи! Я выстрелю! Ты жену отравил, я знаю, ты сам убийца!..

— А вы твердо уверены, что я Марфу Петровну отравил?

— Ты! Ты мне сам намекал; ты мне говорил об яде... я знаю, ты за ним ездил... у тебя было готово... Это непременно ты... подлец!

— Если бы даже это была и правда, так из-за тебя же... все-таки ты же была бы причиной.

— Лжешь! (бешенство засверкало в глазах Дуни) лжешь, клеветник!

— Лгу? Ну, пожалуй, и лгу. Солгал. Женщинам про эти вещицы поминать не следует. (Он усмехнулся.) Знаю, что выстрелишь, зверок хорошенький. Ну и стреляй!

Дуня подняла револьвер и, мертво-бледная, с побелевшею, дрожавшею нижнею губкой, с сверкающими, как огонь, большими черными глазами, смотрела на него, решившись, измеряя и выжидая первого движения с его стороны. Никогда еще он не видал ее столь прекрасною. Огонь, сверкнувший из глаз ее в ту минуту, когда она поднимала револьвер, точно обжег его, и сердце его с болью сжалось. Он ступил шаг, и выстрел раздался. Пуля скользнула по его волосам и ударилась сзади в стену. Он остановился и тихо засмеялся;

— Укусила оса! Прямо в голову метит... Что это? Кровь! — Он вынул платок, чтоб обтереть кровь, тоненькою струйкой стекавшую по его прямому виску; вероятно, пуля чуть-чуть задела по коже черепа. Дуня опустила револьвер и смотрела на Свидригайлова не то что в страхе, а в каком-то диком недоумении. Она как бы сама уж не понимала, что такое она сделала и что это делается!

— Ну что ж, промах! Стреляйте еще, я жду, — тихо проговорил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как-то мрачно, — этак я вас схватить успею, прежде чем вы взведете курок!

Дунечка вздрогнула, быстро взвела курок и опять подняла револьвер.

— Оставьте меня! — проговорила она в отчаянии, — клянусь, я опять выстрелю... Я... убью!..

— Ну что ж... в трех шагах и нельзя не убить. Ну а не убьете... тогда... — Глаза его засверкали, и он ступил еще два шага.

Дунечка выстрелила, осечка!

— Зарядили неаккуратно. Ничего! У вас там еще есть капсюль. Поправьте, я подожду.

Он стоял пред нею в двух шагах, ждал и смотрел на нее с дикою решимостью, воспаленно-страстным, тяжелым взглядом. Дуня поняла, что он скорее умрет, чем

отпустит ее. " И... и уж, конечно, она убьет его теперь, в двух шагах!..."

Вдруг она отбросила револьвер.

— Бросила! — с удивлением проговорил Свидригайлов и глубоко перевел дух. Что— то как бы разом отошло у него от сердца, и, может быть, не одна тягость смертного страха; да вряд ли он и ощущал его в эту минуту. Это было избавление от другого, более скорбного и мрачного чувства, которого бы он и сам не мог во всей силе определить.

Он подошел к Дуне и тихо обнял ее рукой за талию. Она не сопротивлялась, но, вся трепеща как лист, смотрела на него умоляющими глазами. Он было хотел что-то сказать, но только губы его кривились, а выговорить он не мог.

— Отпусти меня! — умоляя сказала Дуня.

Свидригайлов вздрогнул: это "ты" было уже как-то не так проговорено, как давешнее.

— Так не любишь? — тихо спросил он.

Дуня отрицательно повела головой.

— И... не можешь?. Никогда? — с отчаянием прошептал он.

— Никогда! — прошептала Дуня.

Прошло мгновение ужасной, немой борьбы в душе Свидригайлова. Невыразимым взглядом глядел он на нее. Вдруг он отнял руку, отвернулся, быстро отошел к окну и стал пред ним.

Прошло еще мгновение.

— Вот ключ! (Он вынул его из левого кармана пальто и положил сзади себя на стол, не глядя и не оборачиваясь к Дуне.) Берите; уходите скорей!..

Он упорно смотрел в окно.

Дуня подошла к столу взять ключ. ...

Через минуту, как безумная, не помня себя, выбежала она на канаву и побежала по направлению к мосту.

Свидригайлов простоял еще у окна минуты три; наконец медленно обернулся, осмотрелся кругом и тихо провел ладонью по лбу. Странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния. ... Револьвер, отброшенный Дуней и отлетевший к дверям, вдруг попался ему на глаза. Он поднял и осмотрел его. Это был маленький, карманный трехударный револьвер, старого устройства; в нем осталось еще два заряда и один капсюль. Один раз можно было выстрелить. Он подумал, сунул револьвер в карман, взял шляпу и вышел.

Переказ:

Увесь вечір Свидригайлов напропале гуляє. Соні залишає в подарунок 3 тисячі, свій наречений та її батькам — 15 тисяч. Вражений малолітньою п'ятирічною дівчинкою, допомагає їй — укладає спати. Йому в сонному личку дитини ввижається розпусне лице жінки, що сміється з нього. Свидригайлов знову виходить на вулицю, де на очах пожежника стріляється.

Раскольников приходит до матері і сестри прощатися. Після цього йде до Соні, яка

готує його до зізнання. Родіон ладен перед усім світом просити пробачення за скоєне.

Цитата:

Соня молча вынула из ящика два креста, кипарисный и медный, перекрестилась сама, перекрестила его и надела ему на грудь кипарисный крестик.

— Это, значит, символ того, что крест беру на себя, хе-хе! И точно, я до сих пор мало страдал! Кипарисный, то есть простонародный; медный — это Лизаветин, себе берешь, — покажи-ка? Так на ней он был... в ту минуту? Я знаю тоже подобных два креста, серебряный и образок. Я их сбросил тогда старушонке на грудь. Вот бы те кстати теперь, право, те бы мне и надеть. ...

Соня осталась среди комнаты. Он даже и не простился с ней, он уже забыл о ней; одно язвительное и бунтующее сомнение вскипело в душе его.

"Да так ли, так ли все это? — опять-таки подумал он, сходя с лестницы, — неужели нельзя еще остановиться и опять все переправить... и не ходить?" ...

"Ну для чего, ну зачем я приходил к ней теперь? Я ей сказал: за делом; за каким же делом? Никакого совсем и не было дела! Объявить, что иду; так что же? Экая надобность! Люблю, что ли, я ее? Ведь нет, нет? Ведь вот отогнал ее теперь, как собаку. Крестов, что ли, мне в самом деле от нее понадобилось? О, как низко упал я! Нет, — мне слез ее надобно было, мне испуг ее видеть надобно было, смотреть, как сердце ее болит и терзается! Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть! И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец, подлец!"

Он шел по набережной канавы, и недалеко уж оставалось ему. Но дойдя до моста, он приостановился и вдруг повернул на мост, в сторону, и пошел на Сенную....

Он вдруг вспомнил слова Сони: "Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух: "Я убийца!"". Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули, слезы. Как стоял, так и упал он на землю...

Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю, с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз.

— Ишь нахлестался! — заметил подле него один парень.

Раздался смех.

Переказ:

Раскольников зізнається у вбивстві. У поліцейському участку він чує про смерть Свидригайлова.

Епілог

Переказ:

Раскольникову засуджують на 8 років каторги. У його відсутність Дуня виходить заміж за Разуміхіна.

Соня поїхала за Раскольниковим у Сибір. Вони зустрічаються кожної неділі. За міцність духу, розум, віру і християнське милосердя Соню полюбили й інші в'язні. До Родіона не одразу приходить повне визнання своєї провини. Але під впливом страждань його світогляд змінюється. Раскольников розуміє, що кохає Соню. З часом він повністю одужує після тривалої хвороби, як фізично, так і морально.

Цитата:

Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и в бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое— где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спасти в во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса.

Расколькова мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячешных грез. Шла уже вторая неделя после Святой; Стояли теплые, ясные, весенние дни; в арестантской палате отворили окна (решетчатые, под которыми ходил часовой). Соня, во все время болезни его, могла только два раза его навестить в палате; каждый раз надо было испрашивать разрешения, а это было трудно. Но она часто

приходила на госпитальный двор, под окна, особенно под вечер, а иногда так только, чтобы постоять на дворе минутку и хоть издали посмотреть на окна палаты. Однажды, под вечер, уже совсем почти выздоровевший Раскольников заснул; проснувшись, он нечаянно подошел к окну и вдруг увидел вдаль, у госпитальных ворот, Соню. Она стояла и как бы чего-то ждала. Что-то как бы пронзило в ту минуту его сердце; он вздрогнул и поскорее отошел от окна. В следующий день Соня не приходила, на третий день тоже; он заметил, что ждет ее с беспокойством. Наконец его выписали. Придя в острог, он узнал от арестантов, что Софья Семеновна заболела, лежит дома и никуда не выходит.

Он был очень беспокоен, посылал о ней справляться. Скоро узнал он, что болезнь ее не опасна. Узнав в свою очередь, что он об ней так тоскует и заботится, Соня прислала ему записку, написанную карандашом, и уведомляла его, что ей гораздо легче, что у ней пустая, легкая простуда и что она скоро, очень скоро, придет повидаться с ним на работу. Когда он читал эту записку, сердце его сильно и больно билось.

День опять был ясный и теплый. Ранним утром, часов в шесть, он отправился на работу. ... Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь; мысль его переходила в грезы, в созерцание; он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила.

Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный, старый бурнус и зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновению, робко протянула ему свою руку. ...

Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее и что настала же, наконец, эта минута...

Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого:

Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья! Но он воскресли он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она — она ведь и жила только одною его жизнью!...

Под подушкой его лежало Евангелие. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал...

Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: "Разве могут ее

убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере..."...

Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, — но теперешний рассказ наш окончен.

#### Коментар

Сюжет роману, що спочатку планувався як невеличка повість, був задуманий як сповідь злочинця-гуманіста, що жадає вступитися за "принижених і скривджених". Та потім твір набуває форм роману, змінюються орієнтири, ідея розширюється, образи персонажів ускладнюються. Тепер Раскольников – не носій гуманної ідеї, а людина, чий розум спотворений теорією про геніїв, що спроможні сказати світу "нове слово" і "рабів", які придатні лише для народження нащадків. У цій теорії "надлюдини" закладено підвалини злочину Раскольникова.

Достоевський застосовує поліфонію (багатоголосся) як основний принцип поетики роману, де кожен персонаж обстоює власну позицію, а голос автора звучить поряд з іншими.

Співучасником злочину Раскольникова письменник вважає Петербург: тільки в такому похмурому і таємничому місті могла народитися потворна мрія студента-злидаря.

Раскольников такий же двоїстий, як і Петербург, що його породив (з одного боку Сінна площа "отвратительный и грустный колорит картины", іншого — Нева — "великолепная панорама").

Другий приклад одухотворення, матерії— житла героїв Достоевського. "Жовта комірчина" Раскольникова, яку Достоевський порівнює з труною, і, як протиставлення, — велика кімната з трьома вікнами у Соні, чия душа відкрита світові.

Світ, що оточує героя Достоевського, завжди подається як частина душі цієї людини, стає ніби внутрішнім пейзажем і визначає людські вчинки. Дослідники роману звертають увагу на цікаву словесну символіку твору: слово-образ "сходи". Раскольников піднімається і йде донизу сходами із своєї кімнати-комірчини, він здіймається сходами, щоб дістатися до кімнати Мармеладова, він мусить піднятися на декілька поверхів і до квартири старої лихварки, і до поліцейської контори, і до кімнати Соні. Усі важливі моменти напруги і вагань характерним чином відбуваються на сходах.

Верх, низ, сходи, поріг, передпокій — отримують значення відправної точки, де відбувається криза, радикальна зміна, злам долі, де приймаються рішення, переступають межу, відновлюються чи гинуть.

На порозі, в прохідній кімнаті, що виходить на сходи, живе родина Мармеладових; на порозі Раскольников уперше зустрічається з членами цієї сім'ї; у порога вбитої ним старої він переживає страшні хвилини, коли по інший бік двері стояв відвідувач лихварки; на порозі, біля дверей у сусідню квартиру, відбувається його бесіда з Сонею (а по інший бік їх підслуховує Свидригайлов).



Ще один символ — число 4: квартира жертви знаходиться на 4-му поверсі; Раскольников ховає вкрадені речі біля 4-поверхового будинку, що будується; поліцейський участок знаходиться на 4-му поверсі, і Раскольников іде у 4-ту кімнату. У кожному випадку оточуюче середовище відзначає критичний момент у психічній еволюції Раскольникова: вбивство, пошуки схову, перша зустріч із Сонею і повне визнання вбивства. Після злочину Раскольников 4 дні знаходиться в стані марення.

З одного боку, чотирьохчленна вертикальна структура визначає вузькість, насилля, з другого боку, горизонтальна структура — це ідея простору, доброї волі, спасіння — не дарма ж Соня просить Раскольникова: "стань на перехресті, поклонись, поцелуй спочатку землю... поклонись всьому світу на всі чотири сторони".

У Достоевського ретельно продумані імена і прізвища героїв: прізвище "Раскольников" свідчить про те, що в душі головного героя відбувся розкол матері-землі, родини (ім'я Родіон). Особливе місце в романі відведено Соні. Ім'я її також має своє значення — мудра. Якщо Соня вказує Раскольникову шлях до мудрості та світла, то такий розпусник, як Свидригайлов, уособлює духовну деградацію й занепад особистості. Даючи своєму героєві таке прізвище, Достоевський знову звертається до етимології слова: друга частина цього прізвища — гайл — означає в перекладі з німецької (geil) — розпусний.

Немає потреби пояснювати і співставляти значення образу і його етимологію у прізвищах Разуміхін чи Лужін. Відокремлено, без прізвища, виступає герой, що представляє закон: Порфирій Петрович. Убивця Раскольников вступає в конфлікт з двома правдами: божою і людською. Якщо релігійне начало представлене в романі Сонею Мармеладовою, то правове — Порфирієм Петровичем: Порфирій означає "багряний" (грецьк.), Петро — "камінь". Пролита кров і стійкість захисника закону "зашифрована" в імені слідчого.

Взагалі роман настільки заповнений символами, що з "надводною" течією твору необхідно постійно утримувати і "підводну": навіть вбивство відбувається не лише бридкої старої лихварки, а й її сестри, беззахисної Єлизавети, яка до того ж вагітна. Під рукою Раскольникова, за задумом Достоевського, гине й майбутнє. Що ж потрібно зробити, щоб майбутнє воскресло? У поліфонічному романі проходять теми Раскольникова (як головна), історія Мармеладових, матері та сестри Раскольникова, історії претендентів на її руку — Свидригайлова, Лужина, Разуміхіна, лінія слідчого Порфирія Петровича, але поетика роману підпорядкована одній головній і єдиній задачі — воскресінню Раскольникова, врятуванню "надлюдини" від злочинної теорії і об'єднанню з іншими людьми. У цьому й полягає воскресіння майбутнього.